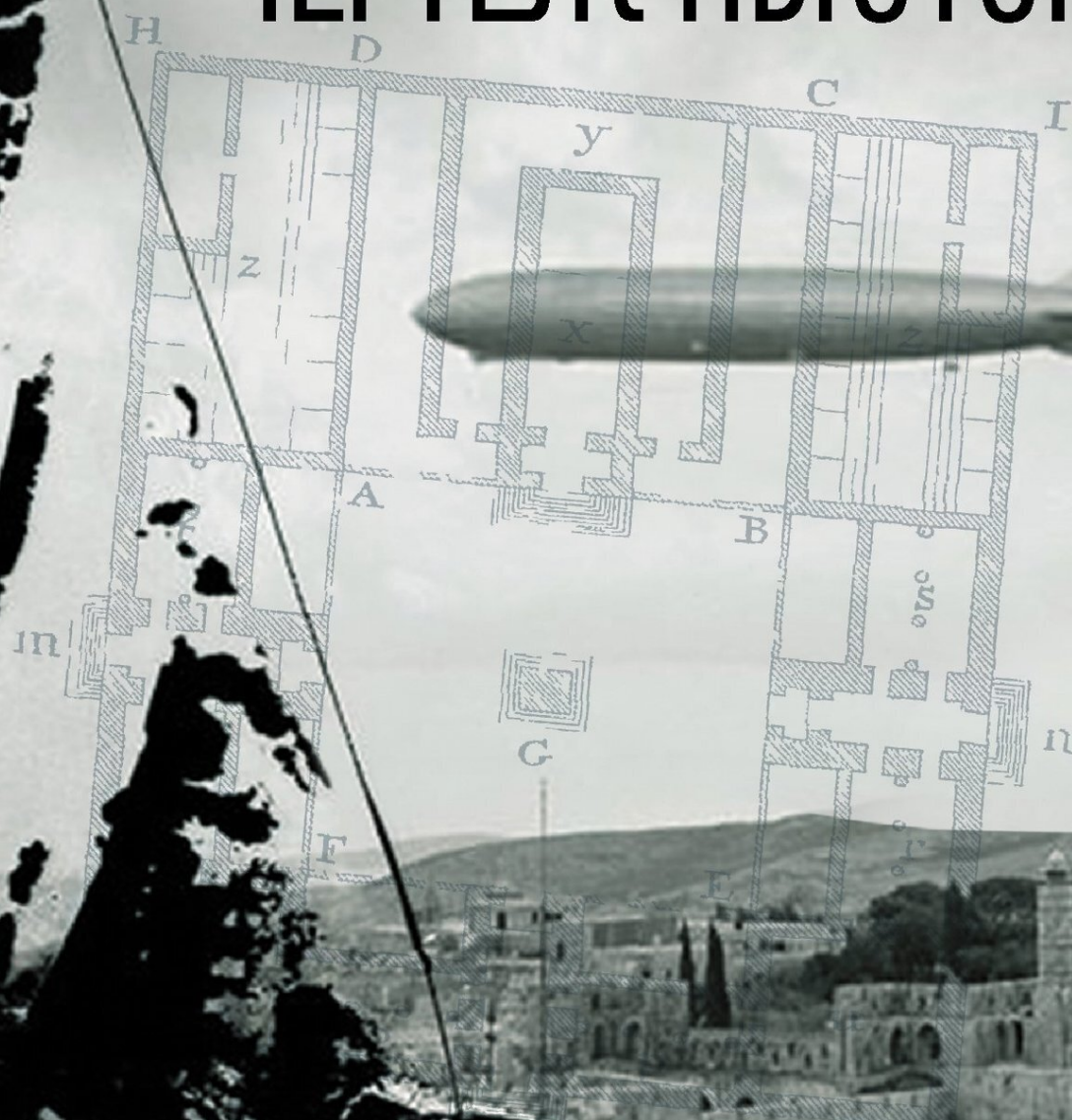


НОВЫЙ РОМАН ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ "БОЛЬШАЯ КНИГА"

Александр Иличевский ЧЕРТЕЖ НЬЮТОНА



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУВИНОЙ

Александр Иличевский

Чертеж Ньютона

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Иличевский А. В.

Чертеж Ньютона / А. В. Иличевский — «Издательство АСТ»,
2020

ISBN 978-5-17-116544-4

Александр Иличевский (р. 1970) – прозаик и поэт, лауреат премий «Русский Букер» («Матисс») и «Большая книга» («Перс»). Герой его нового романа «Чертеж Ньютона» совершает три больших путешествия: держа путь в американскую религиозную секту, пересекает на машине пустыню Невада, всматривается в ее ландшафт, ночует в захолустных городках; разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире, среди гор и местных жителей с их нехитрым бытом и глубокими верованиями; ищет в Иерусалиме отца – известного поэта, мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок и знатока древней истории Святой Земли...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116544-4

© Иличевский А. В., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	20
Глава 5	23
Глава 6	26
Глава 7	29
Глава 8	33
Глава 9	36
Глава 10	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Александр Викторович Иличевский

Чертеж Ньютона

© Иличевский А.В.

© Бондаренко А.Л., оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Глава 1

Путешествие

Я занимаюсь проблемой темной материи и много езжу по миру, принимаю участие в работе различных научных сообществ, которые монтируют свои установки в горах, поближе к космосу. Но одно дело собирать данные, и совсем иное – уметь их прочитать и обработать; мое ремесло – понять данные лучше других. В то же время некоторые считают, что темной материи не существует, что все ее признаки, в том числе и загадочное поведение галактик, – это следствие того, что закон всемирного тяготения Ньютона на больших расстояниях следует видоизменить. Иными словами, закон тяготения не такой уж и всемирный. Среди сторонников модернизированного закона сэра Исаака Ньютона – мой отец. Нам с ним всегда было интересно вместе, хобби каждого – профессия другого. Однако мне пересмотр фундаментального закона мироздания кажется избыточным построением, куда менее красивым, чем сама по себе тайна особой материи, занимающей большую часть Вселенной, но при этом не вступающей с наблюдаемым миром во взаимодействие. Решение этой проблемы затрагивает массу важных знаний о Вселенной. Ведь что такое смысл, если не тайна в ауре понимания? Темная материя напоминает само сознание: его еще никто не смог локализовать в пространстве, хотя влияние сознания на наблюдаемый мир огромно. В сущности, нижеследующая история есть рассказ о том, как я искал темную материю, а в результате она сама нашла меня.

Вот эта мысль о разуме как *dark matter* снова занимала меня, когда я поглядывал то на индикатор уровня бензина, то на карту, пытаюсь оценить расстояние до пересечения с очередным меридианным шоссе – частью дорожной сети, заброшенной кое-как на Неваду. Юмки – деревья Иисуса Навина – выскакивали по сторонам от дороги и проплывали, похожие на силуэты людей, вскинувших руки. Пространство лилось под колеса пятый час, и я пока не верил, что смогу пересечь Неваду, ощущая себя замершим между двумя линиями горизонта – впереди и в зеркале заднего вида, хотя стрелка спидометра не опускалась ниже восьмидесяти миль в час. Полотно дороги зыбилось в толще расплавленного воздуха, переливалось озерным блеском, небо стелилось под колеса, иногда ржаво вспыхивали и проносились мимо какие-то цистерны. Оказалось, если набраться мужества и выйти в этот адский зной, подойти и хорошенько пнуть одну из них, можно услышать всплеск в ее утробе, наполненной тухлой водой – спасением для путешественника, у которого закипел радиатор.

Сделав остановку, я обошел вокруг цистерны и увидел близ нее на песке черепашины следы. Когда-то в детстве я слышал рассказ бабушки, как в эвакуации в Ашхабаде ее семья спасалась от голода тем, что охотилась на черепахи. Ранним утром, пока не началась смертельная жара, брали мешок и шли в барханы искать черепашины следы. Черепах приносили в барак, в котором жили несколько семей, и прятали до поры до времени. Мешок лежал под кроватью и все время шевелился. Самки весной ценились выше самцов, потому что из них добывались яйца – их жарили вместе с черепашиной печенкой, а мясо разваривали, и тогда оно напоминало курятину.

Вдруг послышался шум мотора, и я оглянулся, сощурился, чтобы лучше видеть, как над потонувшей в мареве дорогой скользит патрульный самолет. Недаром то и дело попадались мне дорожные знаки с надписями «*Low Flying Aircrafts Patrole This Road*»¹. Удивленный, что я не один на сто верст вокруг, я поспешил застегнуть ширинку и зашагал к машине, показывая пилоту большой палец: мол, все в порядке, беспокоиться не о чем, – но пилот уже делал

¹ Воздушный патруль (англ.).

разворот. Через минуту полицейская «Сессна» с ревом пронеслась над моим «Эквиноксом», успевшим набрать прежнюю скорость, покуда я думал о черепахах, о том, что мешок с копошащимися рептилиями, наверное, гремел и стучал – панцирь о панцирь, панцирь о пол. Пилот качнул крыльями, и самолет заскользил к очередному хребту холмов – застывшему складками эху столкновения тектонических плит, породивших Сьерру. Эти хребты были единственным, что могло прервать безграничную линию горизонта, и я мчал от одной складки к другой, чтобы там наконец полететь в гору, заложить вираж, другой, третий, перевалить через хребет и, теперь спускаясь, снова поразиться простиравшемуся блюду пустыни.

Я приложился к бутылке с минералкой и, жадно сглатывая воду, вспомнил, как утром в гостиничном номере Лас-Вегаса раздался первый звонок от жены; но связь прервалась, я только успел услышать: «Ты где?» – как экран погас: разрядился аккумулятор. Отец протянул мне пиво, я покачал головой, припомнив его же поговорку «Похмеляются только слабаки и сверхчеловеки», – тут как раз швейцар заглянул в лобби и сообщил, что подъехало такси везти нас в аэропорт.

С отцом мы раза два в год видимся в различных точках планеты, поскольку оба любим путешествовать: я по необходимости – мотаясь по конференциям, симпозиумам, лабораториям; он из любопытства. Живя в Иерусалиме, где я бывал у него частым гостем, он, если я отправлялся в какое-нибудь экзотическое или интересное место, покупал билет, и мы поселились обычно в одном гостиничном номере. На посадке и в самолете отец был словоохотлив; когда-то он мне объяснил: «С похмелья больно думать, и вместо этого я разговариваю, потому что думать и говорить одновременно невозможно». «Вот скажи, – говорил перед взлетом папка, – скажи, дружок, ты знаешь, как распознать продажную женщину? Допустим, ты приехал в Вегас, заселился в номер, спустился в бассейн и видишь прекрасную незнакомку. Вот как понять, можно с ней за деньги или нет? По двум признакам. Продажная женщина намазывает на себя все дармовые кремы, какие найдет на полках в раздевалке. Ты приходишь в бассейн, а она сидит и вся мажется солнцезащитным, увлажняющим, для ног, для рук. И как только ты заметил, что перед уходом она кидает на пол полотенца, ушные палочки, салфетки, одноразовые расчески, знай: ты на верном пути. Всё в их жизни одноразовое, и это формирует привычки».

Наш «Эмбраер», летевший в Сан-Франциско, уже набрал высоту, понемногу поворачивая к океану, к прибою ледяного течения, идущего вдоль побережья от Аляски – к волнам, что ворочались и бились в бухточках и скалах Биг-Сура, рассекались в заливе Монтерей плавниками косаток, похожими на тонущий рояль, и в лучах стального затуманенного солнца вспыхивали китовыми фонтанами. Стюардессы стали разносить напитки, я попросил воды. Сделал глоток и, прикрыв глаза, вспомнил, как проснулся утром от того, что нечто заклацало, захлопало прямо над головой. Я приоткрыл один глаз и увидел птичьи лапы, крыло. Чайка, обитавшая неподалеку на водохранилище, привлеченная распахнутым окном и фруктами на блюде, вращая желтым глазом, заскользила, зашаркала и спрыгнула на пол. В точности так же нас с отцом разбудила чайка когда-то в Бомбее, но тогда все происходило на побережье, а не посреди пустыни в Неваде. Впрочем, я давно уже стал замечать, что сознание с трудом способно быть развернутым во времени, все события воспринимаются им скорее как одновременные. Вот почему так отчетливо птица вызвала в памяти ту поездку на конференцию в Бомбей, точнее то, что от нее осталось. Например, как мы с папашей сосредоточенно шагнули на обложенную тенями, затянутую ароматным дымом улочку – и оба заробели, посмотрев друг на друга. В той улочке тогда мы успели кое-что узнать об улыбчивых тайках с необыкновенно сильными руками, которые, прежде чем поцеловать вам локоть, делали затяжку, хукка булькала, и чуткие их губы соскальзывали с тонкого, как цыганская игла, медного мундштука. «Всё сводится к эросу, – объяснял мне потом отец. – Все наши чувства, и любовь, и ненависть – только разная степень наличия или недостатка эроса. И стремление наше к знаниям есть по сути та же

любовь, прокаленная силой разума». Помню, я слушал его, постепенно теряя себя, чувствуя, как голова, плывущая в дурмане наслаждения, обертывается шелковыми алыми полотнищами, просвеченными луной и наготой.

У отца хватало странностей, и одной из них было то, что он по всему миру возил с собой фотопортрет Ингрид Бергман в рамке и доставал из рюкзака, чтобы водрузить на прикроватную тумбочку в отеле, считая, что актриса отражает образ плетущей облака богини любви Фригги. Фотку Ингрид он носил с собой в бумажнике и при случае показывал в борделях и сутенерам, прося подобрать похожую девушку: «*This is my goddess, I want someone like she*»². Я привык и к этому кошмару (человек не блоха, ко всему привыкнет), и, случалось, таскался за сжигаемым любопытством отцом и по дымящимся вертепам, и по благородным домам терпимости – при том что не только не понимал и стыдился этой его причуды с Бергман, я вообще стеснялся европейцев, в отличие от не слишком важничавших, но ловких, деловито покладистых девушек с оливковой дурманной кожей.

Помню, однажды мы ехали через весь Цейлон на поезде. Сначала долго бродили по переполненным вагонам, пока отец по одному ему понятным признакам в одежде, в амулетах, в том, как прибраны волосы у пассажиров, пытался распознать кастовую принадлежность тех или других. Окна были выбиты, поезд не шел, а плелся, и мы по лесенке между вагонами вылезли на крышу. Там, сидя на хребте состава перед текущим, словно берегá вдоль реки, пейзажем, глядя на завешенные вечерним паром чайные террасные холмы, на склонившихся над охапками нарезанных веток слонов и на махавших с порогов лачуг детишек, впервые обсудили рабочую идею, которая будет занимать меня следующие несколько лет. Мы заговорили о Ньютоне, о том, что пришла пора и науке, и религии опомниться и попробовать чему-нибудь научиться друг у друга. Научное отношение Ньютона к теологическим аспектам бытия мы решили считать символом подобного отношения.

Тогда же я поделился с отцом своей задумкой, касающейся Памирской станции, где когда-то наша институтская группа отбывала летнюю практику. Едва ли не с тех же самых пор, в эпоху развала советской науки, станция была заброшена, но продолжала в автоматическом режиме собирать данные. Извлечь и осмыслить эти показания едва ли мог кто-нибудь в мире из-за их чрезвычайной плотности. Представьте себе лист бумаги, на котором некий текст написан в три слоя. Его практически невозможно прочесть. А теперь представьте лист с десятью слоями текста. Такая страница выглядит полностью вымаранной, и ни о каком прочтении речи быть не может. Я же, занимаясь физикой высоких энергий, разработал программный комплекс, способный прочесть и двадцать, и тридцать слоев данных. Кроме того, самым главным событием на конференции в Лас-Вегасе стало признание Янга, что его лаборатория разработала высокоточные способы распознавания треков³, и при определенной модификации они могли бы оказаться успешными в чтении данных высокой плотности, таких, например, какие могут быть обнаружены на станции «Памир-Чакалтая». Таким образом, было положено начало гонке между научными организациями по выемке Памирской станции, и я в нее включился, поскольку мой собственный метод распознавания треков был на порядок эффективнее и точнее существующих.

Мне тогда показалось, что на том цейлонском поезде мы въехали в самый хрусталик холмов, крытых куполом сгущавшейся на востоке звездной глубины. Как только сошли с поезда, отец исчез и появился, уже осведомившись у таксистов о ночлеге. Ночь мы провели в соседних открытых бунгало, стоявших в бамбуковой роще. Но прежде портье отвел нас к водоразборному фонтану, где под фонарем мы помылись вместе с мальчишками, которые с воплями бегали друг за другом, обливаясь из тазиков. Белый буйвол, поджав ноги, лежал неподалеку,

² Это моя богиня, хочу кого-то, как она (англ.).

³ – след, оставляемый в среде движущейся заряженной частицей.

как спустившееся на землю облако. Еще я запомнил жемчужный блеск белков ласковой сингалки, что поднесла к моему лицу шкатулку и открыла – оттуда выпорхнули лимонницы и запутались в волосах, – и тогда она опрокинула меня на спину и потекла шелковой рекой вверх. Потом я лежал, прислушивался, как шелестел бамбук, как по антимоскитному балдахину соскальзывали гекконы. С европейками ничего похожего я не испытывал. Вот и от вчерашнего дня осталась только чайка, привлеченная в окно остатками скромного пиршества.

В аэропорту Сан-Франциско, распрощавшись с отцом, спешившим на пересадку, я отправился в рентовую контору, получил ключи от «Эквинокса» и, сев за руль, опустил в «гнездо» телефон: мне предстояло еще неделю провести на семинарах по физике высоких энергий в Стэнфорде. Автомобиль вскоре свернул с шоссе в город и тут же запетлял по односторонним улицам среди высоток к северу от улицы Маркет. Я раздраженно поглядывал на экран навигатора, ведшего меня к гостинице, когда раздался звонок. Встревоженная жена спросила, что я сейчас делаю, и потребовала остановиться и выслушать ее. Я ткнулся на перекрестке к пожарному крану и включил аварийные огни.

Немного погодя я снова вел «Эквинокс», пришвартовал его у отеля *Holiday's Inn* и позвонил Стигницу: «Старик, привет, я прилетел, но у меня проблемы, мне нужно срочно обратно». – «Куда? В аэропорт?» – «В Неваду, не обессудь». – «Ты сумасшедший долбаный русский физик, вот ты кто, – после нескольких секунд молчания произнес Стигниц и добавил: – Удачи».

Через четыре часа, забравшись вместе с «Эквиноксом» на хребет Сьерра-Невады, я стоял на берегу озера Тахо и смотрел в его полукилометровую глубину, уже покинутую зашедшим за гребень гор солнцем. Тем временем жена звонила еще дважды. Причина, по которой я опять направлялся в Неваду, в городок Тонопа́, касалась меня лишь вскользь, но пробивала, как пуля со смещенным центром, глубоко и рвано: мать моей жены, нелюдима теща, с которой я виделся в прошлой жизни только на семейных торжествах или изредка на даче – в общем, странная женщина, – сейчас умирала после инсульта в крохотном городке в Неваде. Когда я летел в Лас-Вегас, жена в шутку обронила: «Может, к теще на блины явишься?» Ни о каких блинах не могло быть и речи, я и жены-то сторонился теперь, да и в принципе немыслимо это: где я – и где теща, очарованная девкалионами? Заскучав на пенсии, она стала посещать молитвенные собрания этих последователей Стивена Сполдинга, которые устраивались в арендованном помещении на территории Зачатьевского подворья. Года два спустя Виктория Павловна сошлась со старейшиной-миссионером, как раз отбывавшим восвояси, и подалась за ним, стала жить в Солт-Лейк-Сити, но года три назад не то провинилась перед девкалионской общиной, не то не заладилось с полигамным мужем, и он сослал ее в Тонопу, будто бы на послушание, в небольшую общину, откуда она иногда звонила дочери и толковала о смирении.

Мало ли грубых фантазий человечество берет на веру, но волей-неволей, повинуюсь настойчивости жены, так или иначе мне приходилось во все это вникать – за ужином, завтраком, в пробке по дороге на дачу и, конечно, перед сном. В поколениях жениной семьи царил нерушимый матриархат, властвовали всем на свете Кот и Мопс; да, именно Котом звала свою мать Юля, и именно Мопсом именовала она свою бабушку. «Кот, привет, Мопс уже вернулся?» Или: «Мопс, ты слышишь меня? Мопс, это я, Киса!» Киса – так сызмала звали жену ее мать и бабушка, но сам я – никогда. «Как ужасны вообще семейные прозвища», – в который раз подумал я и двинулся по набережной в поисках ужина, пытаюсь отыскать примеченный, пока брел из гостиницы, пришвартованный колесный пароход с чучелом осетра, закрепленным на борту второй палубы у самых плиц гребного колеса, над вывеской «*Tahoe Tessie*». Я посмотрел на часы и на гаснущее небо, прикинул, смогу ли в сумерках вести машину: в принципе, да, сумею, опыта сколько угодно, знаю, что значит мчаться ночью по незнакомой горной дороге –

например, в Сочи или в Крыму, куда мы ездили как проклятые в первые годы после женитьбы, непреклонно соблюдая священное, из детства, отношение жены к этим морским побережьям.

С заходом солнца ветер стих совсем и поверхность озера выгладилась. То там, то здесь на яхтах позвякивал такелаж: лодки швартовались и раскачивались под ногами переступавших по палубам людей. Рыбаки с пучками удочек в руках и с куканами на плечах, увешанными рыбой, вышагивали по мосткам. Я отыскал ресторан с чучелом осетра, меня усадили на корме, предложили плед. Вино допивал, всматриваясь в потекшие по глади озера неоновые ручейки, сбежавшие от баров, гостиниц и ресторанов, которыми озарилась набережная. Впервые за долгое время я думал о жене, удивляясь этому, как дивятся собственной поврежденной руке, вдруг повисшей плетью, отказавшейся повиноваться. Жизнь у нас лет пять уже не ладилась, и некого было в этом винить; точнее, виноваты были оба. Что-то подсказывало мне, что у меня все шансы повторить судьбу отца жены, скромного работника Госплана, который за некую нелояльность был выдворен из семьи, когда дочери исполнилось двенадцать; так что с некоторых пор он выходил из своей комнаты лишь умыться и приготовить обед, купил себе холодильник и стал вести отдельное хозяйство. Балкон имелся только в его комнате, и дочь приходила к нему тайком кормить синичек и снегирей, прилетавших из Сокольнического парка. Жена, зачерствевшая, вероятно, еще и вследствие своей профессии, а работала она в ЗАГСе, вывесила в коридоре листок с отпечатанным кодексом поведения отлученного супруга: «Бельский не может: оставлять гостей, занимать вешалку в прихожей, музыка у него звучит шепотом», «Бельскому предписывается: держать мусорное ведро у себя, чистить балкон после голубей и от снега», «Бельский должен: мыть полы в коридоре по понедельникам, санузел по четвергам», «Бельский обязан предупреждать: когда уезжает и насколько». Бельский с тех пор жил незаметней мышью, а оставившая его жена наскоро преобразилась в корпулентную мадам, которая по утрам выпивала после зарядки сырое яйцо, носила высокие прически, шелковые балахоны и пылала коралловыми браслетами и ожерельями. Так она окончательно превратилась в Кота.

Дочь поначалу внешне была совершенной ее противоположностью: тоненькая, высокая, даже несколько долговязая, гибкая, тешившая себя амбициями в Гнесинском училище, но бросившая фортепьяно ради филологии, а ту – ради торговли недвижимостью, в коей преуспела; приумножила и «запросы» в музыке и литературе, преобразив их в «глубокий интерес». И на всевозможных концертах и литературных чтениях – в «консе» и по камерным залам – мне приходилось стоять в антрактах в сторонке со стаканом сока в руке, пока жена выпивала, отходила посудачить с элегантными музыкантами и неопрятными литераторами, восторженно или с нарочито сдержанной страстностью пожиравшими ее глазами, ахала, всплескивала руками, покачивала головой и у вешалки расцеловывалась с музыкальными приятельницами и критикессами. Потом подхватывала двух-трех верных подруг – и я принужден был развозить их из конца в конец по апоплексически закупоренной, застывшей тормозными сигналами, как красными тельцами, Москве. А после такого адского бала, по дороге домой, на пути из запретного Медведкова, где улицы сплошь были с мрачным ледовитым подтекстом (Полярная, Седова, Амундсена, Студеная), еще и выслушивать от жены, оборвавшей поводья, залпы сплетен и перетолков из мира, что представлялся мне преисподней. В этом мире размытых рангов категория истинности, если слушать только музыкантов или только писателей, понималась как болотистое «нравится – не нравится», в отличие от критериев мира научного, их алмазной твердости и прозрачности: «доказал – не доказал», «открыл – не открыл». Тем более что музыку саму по себе я ценил высоко – но в отрыве от человечества, поскольку она относилась мною к неантропологической области, хотя я и согласен был, что душа человека обитает в пространстве, сотканном именно музыкой, чистым смыслом как таковым. Юля же была поглощена не столько музыкой и литературой, сколько их поверхностным глянцем, и, даже занимаясь йогой, умудрялась и в ней отыскать повод для тщеславия.

Глава 2

На дне Юты и Невады

Теща всю жизнь проработала в ЗАГСе, последние два десятилетия преуспела в организации торжественной регистрации браков для VIP-клиентов; вот тут-то к ней и явились девкалионы. Пришли и заявили, что им нужны усопшие. Сначала теща выгнала их, но они пришли еще и еще, и приходили уже с подарками; потом она стала получать от них зарплату – в обмен лишь на имена женщин, что почил в течение последнего месяца. Невеселый свой товар девкалионы употребляли в дело так: усопших обращали особым ритуалом в свои ряды и направляли в виртуальные гаремы старейшин. Оказалось, после смерти девкалионские старейшины, по их верованию, превращаются в верховные духовные сущности, владеющие определенными планетами, для управления которыми им необходим гарем из отлетевших душ. Таковые как раз и поставляются регистрационными конторами вроде ЗАГСа. Как любая молодая религия, девкалионская вера пассионарна и делает все возможное для своей экспансии.

Я с самого начала этой истории сказал Юле, что речь идет о гипнозе. Ибо чего ради кому бы то ни было понадобилась в жены вздорная, деспотичная пожилая женщина, не привыкшая терпеть никого рядом? Оказалось, все не так просто. Мать жены, некогда способная, как пепел в пальцах, растереть в прах и бывшего мужа, и зятя, стала теперь посещать религиозные собрания, по целым дням пропадала у метро, где вместе с иными прихожанками раскидывала пропагандистские сети выходящим на улицу людям, спрашивая с озабоченной улыбкой: «Вы верите в Бога?» Я с женой и дочерью давно жил от тещи отдельно (в квартире, купленной Юлей, где начинал чувствовать себя таким Бельским номер два) и потому перемену участи Кота обнаружил запоздало, когда поймал себя на том, что, возвращаясь домой, прежде чем выйти из метро, осматриваюсь, не стоит ли где девкалионская бригада, чтобы затем прицелиться и прошмыгнуть сквозь машущие двери вестибюля без запинки.

И тут скончалась Мопс – властная глухая старуха, которую я никогда не видал в ином состоянии, кроме как у безмолвного телевизора, гремевшего у нее в наушниках, – их она забывала снять, когда вставала, и наушники грохались на пол, но этого Мопс не замечала. И, несмотря на свою глухоту, она вечно за всеми приглядывала; мне казалось, что старуха вообще никогда не спит, но умерла она во сне. Дочь наша тогда, получив диплом, второй год училась в Лондоне, и я, чуть свет торопясь с женой с Пресни в Сокольники, думал: «Одна в жизни радость, что Ленка всего этого не увидит».

Дом Мопса уже был полон девкалионской братии – степенных женщин в туго повязанных платках, руководимых мужчиной в окладистой бороде, но с бритой верхней губой. Я обратил внимание, как переменилась теща – исхудавшая, помолодевшая, с отвесной спиной, но с нездоровым румянцем и невидящими глазами, необычайно теперь похожая на дочь; она была поглощена молитвой, шевелила беззвучно губами и не реагировала на то, что ей втолковывала Юля. Я втайне обрадовался возможности поболтать по-английски и выяснил, что главного девкалиона, приветливого, ничуть не скорбящего, но торжественно-чопорного мужика зовут Стивен Хинкли. Он сносно говорил по-русски, сообщил, что выучил «язык Евгения Онегина» еще во времена холодной войны в военном колледже, а также счел уместным сообщить, что Виктория и он приняли решение соединить свои судьбы и что в скором времени отправятся в Юту.

И вот квартира была продана, Бельский стал жить в купленной ему однокомнатной на «Речном вокзале», а Кот свою часть вырученных денег забрала в Юту – укатила, не оставив ни адреса, ни телефона своего избранника. Только два месяца спустя пришло первое письмо от нее; дочь порядком извелась. Секта девкалионов не пользовалась современными видами связи, а в бумажном письме не было ни приветствия, ни описаний, только призыв к дочери

покаяться, ибо последние дни настали и необходимо привести душу в порядок, дабы предстать достойно пред Святыми. «Кто же эти Святые?» – пробормотал я, поглаживая спину рыдающей жены. Потом стали приходить послания, в которых Кот сама в чем-то каялась, сообщала, что недостойна своей судьбы. Некоторые письма были написаны старательным почерком на корявом английском и выправлены поверх красным карандашом. И наконец Виктория Павловна прислала письмо, где сообщала о драме. Мол, она провинилась в том, что напутала что-то в важном обряде, позволив усомниться в предписании, и потому справедливо наказана мужем. Кот заклинала не беспокоиться, ибо ее поддерживают святые сестры, теперь она живет с ними в Неваде, где должна искупить провинность работой на серебряном прииске. И пусть Юля не думает, будто мать ее сослана в рудники, нет, это прекрасная работа на драге – двое ее новых братьев бросают добытый грунт на вибрационную сетку, от нее же требуется внимание, с которым вместе со святыми сестрами она отыскивает среди промытых камушков крупинки серебра; щепотки этого драгметалла идут потом на сувенирную продажу туристам. «Я ни черта не понимаю, – сказала беспомощно заплаканная Юля, – какая драга, какое серебро, почему рудники? Что за Тонбпа?... Или Тонопá? Ее нужно оттуда спасать». «Если ты ее здесь не удержала...» – сказал я и подумал про себя: «Сжечь мосты ради межпланетного чужого господства... Что ж, серьезные ребята эти девкалионы, раз сумели такую бабу, да об колено». Юля принялась перечитывать письмо, а я поглядывал на нее и думал: «Такие женщины могут жить только с мечтой о непобедимом космическом ковбое-пришельце».

...Я оторвался от телефона и всмотрелся в опаловый сумрак озера, проколотый там и здесь слабыми фонарями на мачтах и кокпитах лодок; поискал глазами официанта, чтобы дать ему знак, что готов расплатиться, но тут звякнуло сообщение от Стигница и на вопрос: «*Are you ok?*» – я ответил: «*On Tahoe. Heading East tomorrow morning*»⁴. Перед тем как отправиться в гостиницу, решил перечитать письмо от дочери, по которому днем только пробежался глазами. Дочь писала с одного пропадающего архипелага в Индонезии, где третью неделю зависала с компанией экологов-добровольцев, просвещала местное население и брала пробы воды. В тех местах рыбаки бедствовали, уловы стали мизерными из-за браконьеров, глушивших рыбу динамитом, от взрывов обрушался коралловый риф. «Местные жители, в сущности, голодают, и мы вместе с ними, питаюсь одними бананами, а в деревнях, даже на одном острове, пользуются различными диалектами, и всюду нужны переводчики. Сидящие на обочине дороги старухи торгуют бензином для мопедов, они разливают их по литровым бутылкам из-под кока-колы. Вот такие пока у меня новости, папочка. Целую тебя!»

Я выехал, чуть только рассвело, но уже часа через два горизонт расчистился, заблестел, дорогу размыло заструившееся море, и я незаметно соскользнул в опасную дрему. Пришлось опустошить термос с кофе, так что к полудню не стерпелось окончательно и понадобилось остановиться. Солнце рушилось раскаленной добела плитой на плечи. Я уж было повернулся, чтобы поскорей сесть в машину, как под ногами дрогнула земля. Затем еще и еще. Осмотревшись, я определил источник звука. Им оказалось животное. Я потом уверял себя, что в то же мгновение мог объяснить, на что оно походило, просто мой мозг был озадачен его, животного, размерами. Невиданному существу оставалось до шоссе еще метров двести, но не было сомнений, что передо мной долбил со всего маху землю – грунт взмывал и рушился – гигантский серый кролик. Метров шесть в высоту, в длину – втрое больше, плоские мощные задние лапы толщиной с легковушку, меховой вагон на месте хвоста, прижатые к спине устрашающие уши и налитые кровью глаза, а благодаря резким толчкам, вполне кроличьим, с помощью которых животное приближалось, стало еще очевидней, что вместо передних лап у этого монстра располагались роговые колеса, которые я с перепугу принял за колесообразные бивни. Колеса

⁴ На Тахо. Завтра утром – на восток (англ.).

эти – или, точнее, подобные колесам части тела кроличьего чудища – поблескивали именно что костяным блеском. Животное задыхалось. Я слышал шум его дыхания, видел, как ходят бока. После передышки *калошадка* – когда-то выдуманное отцом существо – шаркнуло задними лапами, выбило когтями из земли струи пыли, и роговые безосевые колеса взметнулись вверх, чтобы тут же ужасающе удариться оземь. Когда перед самым препятствием – дорогой и автомобилем – животное снова остановилось, мне удалось разглядеть и выражение на его морде – вполне звериное, с выставленными вперед резцами, бешеными глазами, в которых, как в круглых выпуклых зеркалах, устанавливаемых на слепых поворотах, теперь отражались серебристой коробочкой «Эквинокс» и я сам, в беспамятстве застегивавший джинсы. Хорошо, подумал я, повидал я на своем веку и ирландского волкодава высотой с мула, и крыс размером с фокстерьера; а бройлерные цыплята – так те вообще вырастают до размеров духовки всего за восемнадцать дней, и никто еще не знает, какими бы они вымахали, живи дольше. Но все равно в воображение не вмещалась реальность калошадки: огромное, размером с двухэтажный дом, с мансардой и гаражом, снабженное костяными колодками вместо передних конечностей, косматое животное, оглушительно вонявшее мускусом, над чьей шкурой витали тучами мухи и перепрыгивали блохи, швырнуло себя через дорогу, обдав меня воздушной волной, и земля снова размеренно задрожала, затихая по мере удаления монстра.

Я поглядел ему вслед, сошел с обочины, чтобы получше разглядеть следы – борозды, прочерченные чудовищными когтями задних лап. Заметил, что дрожат руки, колени ослабли, и сел на землю, вдруг осознав, что именно видел. «Здравствуйте, приехали... – прошептал я. – Это ж ведь тварь из отцовского бестиария... От него, родимого, восточка!»

Теперь «Эквинокс» летел во весь опор, и, только когда дорога сужалась и колеса переставали четко улавливать конус скольжения, я бросал взгляд на спидометр и сдергивал ногу с педали газа. Я никак не мог отойти от видения, калошадка все еще скакала по коре моего головного мозга, сотрясая черепную коробку. Этого зверя я помнил из детства, из сказок отца, в которых тот составлял для меня настоящий чудо-зоопарк, включавший и летающего жирафа, и гусеничного единорога. Я понимал, что следует взять себя в руки, что такая езда себе дороже, что нужно как-то встряхнуться, и тут увидел мигающий на обочине «дом на колесах» с рекламой *All You Can Drive In USA*⁵. Я сбросил скорость, пристроился сзади, заметив группу молодежи, сгрудившуюся перед зеленой дорожной вывеской, обклеенной стикерами со всех концов страны. Парни фотографировались в обнимку с плюшевым зеленым человечком. Я приблизился и не сразу разобрал среди стикеров типа *Don't Fly Northwest Airlines*⁶ и *Jesus Is Coming, Look Busy*⁷ буквы *Extraterrestrial Highway*⁸ и две летающие тарелки с ножками. Парни оказались бакалаврами из Оклахомы, путешествующими вскладчину по национальным паркам по дороге в Сан-Франциско, откуда они двинут на юг вдоль побережья. На прощание я сфотографировал ребят всех вместе и махнул им вслед, вновь ощущая, как накачивает волшебное одиночество по мере того, как опускается пыль, поднятая колесами на развороте.

И снова «Эквинокс» нес меня через Неваду, мелькали изредка фермы, снова проносились танцующие свой восточный танец деревья Иисуса, особенно заметные на безупречно пустой плоскости, чуть не за милю; на фермах попадались аршинные вывески *Fresh Beef Jerky*⁹ – и я вздрагивал, представляя, как мое все-таки заблудившееся, опрокинутое солнцем тело, мумифицированное солнечной плазмой, плывет, тихо скворча, подобно желтку шаровой молнии; как, весь просвеченный насквозь, стекловидный, я врываюсь в коровник, где к стойлам

⁵ Куда бы вы ни поехали в США (англ.).

⁶ Не летайте Северо-Западными авиалиниями (англ.).

⁷ Иисус грядет, будь готов (англ.).

⁸ Внеземное шоссе (англ.).

⁹ Свежее вяленое мясо (англ.).

тянутся безразличные коровы, и в такой форме предельного накала облетаю каждую, отражаясь в их печальных карих радужках, опаливая ресницы; но скоро на пути возникает бойня, тело мое скользит в это страшное, с облупленной штукатуркой вонючее здание, перегороженное трубами оград. И там оно взрывается. И бойня испаряется. Нет, не разлетается, не выстреливает вверх фонтаном крупных, мелких фракций, струями крошева, а просто растворяется облачком, как пропадает туманный вензель над горлышком бутылки шампанского, только что лишившейся пробки...

Еще не отдавая себе отчета в происходящем, я сбросил скорость и ударил по тормозам. Девочка в красном платье, подобрав подол, неслась наперерез «Эквиноксу». Сработала ABS, педаль отбила дробь в ступню, девочка с бледным, как яичная скорлупа, лицом и с каштановой неприбранной копной на голове положила руку на качнувшийся капот. Сначала мне показалось, что это просто красная тряпка, зацепившаяся за дерево Иисуса, сорвана смерчем и вынеслась на дорогу. Но вот она вся стоит передо мной – хрупкая, тоненькая, как щепочка, и медленно подносит палец к губам, и смотрит исподлобья: порочный всезнающий взгляд и одновременно невинность выражения. Девочка куксится, и плаксивая гримаса сменяется хитровой улыбкой, потом делает книксен – как вдруг порыв ветра бьет в «Эквинокс» и видение срывается с места.

Я посмотрел ей вслед и швырнул автомобиль вперед. Молотил по рулю ребром ладони, пока боль не заставила прийти в себя.

Вечером я уперся в горную грядку, у подножия которой были рассыпаны домишки. Расспросил на заправке, где здесь девкалионская церковь. Здание ее – амбар с островерхой крышей – оказалось запертым. Пока я крутился вокруг, на карниз уселась ворона с коркой в клюве и зашкрябала по жести. Я сошел с крыльца, огляделся, утирая пот со лба и вдыхая запах пыли и полыни. Наконец на пустырь выкатил белый пикап. Водитель вопросительно посмотрел на меня поверх спущенного стекла.

– Я ищу кого-нибудь из девкалионской общины. Мне нужна русская женщина, член этой общины.

– Вам нужен Стивен?

– Я никого не знаю, мне нужен кто-нибудь из общины. Я ищу Викторию Бельскую. Слышали это имя?

– Вам нужен Стивен.

– Хорошо. Мне нужен Стивен. Как его найти?

– Там были? – усатый мужчина с красной морщинистой шеей показал пальцем куда-то за церковь.

– Дом Стивена – в горах?

– На шахте были?

– Нет.

– Следуйте за мной, – он кивнул и остался сидеть, держа руки на руле.

Пробираясь переулками, мы подъехали к аروحно-ажурному сооружению шахтного подъемника, у которого светились окна большого, обнесенного свайной галереей дома. Белый пикап тут же укатил. Мне открыла женщина лет сорока, в блузке и юбке в пол. Она проводила меня в гостиную, где за столом, застеленном белой скатертью, сидел седой, неприятно гладкокожий мужчина с аккуратными бакенбардами.

– Вы Стивен?

– Нет. Меня зовут Мартин, – мужчина поднял брови. – Стивен в отлучке. Что привело вас сюда?

– Я ищу Викторию Бельскую. Это русская женщина, она работала здесь, на шахте.

– Она заболела, – нахмурил брови Мартин. – Seriously заболела. Виктория получила прощение, за ней приехали сестры и вместе со Стивеном забрали ее в Юту.

– Прощение?

– Она грешница, – развел руками Мартин.

– Мы все грешники, – сказал я.

– Грех греху рознь, – твердо сказал Мартин.

– Я муж дочери Виктории. Мне нужен ее адрес.

– А мне нужны ваши документы.

Я достал паспорт, водительские права, протянул Мартину, тот вышел вместе с ними в другую комнату и закрыл за собой дверь. Минут через пять вернулся, отдал документы.

– Вы верите в Бога? – спросил Мартин.

– Да.

– Тогда возьмите. – Мартин придвинул по столу белую книжицу.

– То есть я хотел сказать, что... я агностик. Но я признаю, что в мироздании есть явления непостижимые.

– Непостижимее Бога?

– Наука очень сложна, вот что я имею в виду. Сложнее разума.

– Тогда тем более возьмите.

Я машинально взял и перелистал.

– Спасибо. А адрес? Адрес Виктории в Юте?

Мартин протянул визитную карточку. На ней значилось: *Steven P. Hinckley, 623 Stevenson Road, Chinook Cliff, Utah.*

– А телефон? Телефон там есть?

– На обороте.

Провожала меня уже другая женщина, значительно моложе первой, одетая во все серое.

Глава 3

Леди в красном

«Эквинокс» завелся со второго раза; ничего вроде особенного, с какой железкой не бывает, но я запаниковал. Теперь нужно было найти гостиницу, доложить жене и выспаться перед дорогой.

И хотя Тонопа была дырой даже в этой пустыне, но и тут перед стойкой оказалась очередь: пожилая полная дама, то и дело переговариваясь со старушкой-портье, заполняла гостевой бланк, а я пока рассматривал облезлое чучело гризли, стоявшее с разинутой пастью сбоку от стойки. Я покашлял и улыбнулся, тогда портье обратила ко мне свою увенчанную фиолетовой сединой аккуратную голову и ласково кивнула: «Одну минуту, юноша!».

Комнату я нашел, едва справившись с допотопным лифтом, решетка которого, собираясь гармошкой, сцапала меня за рукав. Это была первая гостиница в моей жизни, где на двери номера имелась надпись, обведенная красной рамкой: «Держите дверь на цепочке, не открывайте незнакомцам!» Номер был увешан старыми фотографиями: рудокопы в группах и по отдельности, Джек Демпси на ринге с поднятой рефери рукой, старт ракеты, густой смерч, надвигающийся юлой на Тонопу с соседней горы, семейные портреты уважаемых граждан в белых рубашках и с обугленными солнцем лицами, портрет милой девушки с пышной, по моде начала века прической. Та же фотография на буклете, подобранном с тумбочки, согласно которому здесь, в *Mizpah Hotel*, родилась легенда о Леди в красном. На тумбочке я нашел также путеводитель для охотников за привидениями, где были перечислены многие места по всей стране, подобные этому отелю, – и кладбища, и руины, и старые усадьбы. Среди прочего мне запомнилась одна проселочная дорога в Алабаме, на которой после захода солнца, едва натянет на луга туману, появляются призраки когда-то, во время войны Юга и Севера, умерших от горя женщин: мать и дочь, не дождавшиеся отца и жениха, погибших в боях, каждый день выходили на эту дорогу, поджидая повозку почтальона; выходят они и сейчас.

Как сообщал путеводитель, отель потому носит древнееврейское название («*mizpah*» – наблюдательный пункт), что первыми поселенцами здесь были девкалионы, которые, как и народ Завета, перво-наперво на новом месте обзаводились смотровой вышкой, откуда удобно было наблюдать за окрестностями. Отель превзошел высотой эту каланчу и стал особой достопримечательностью, где будущий чемпион мира в среднем весе Джек Демпси тренировался на подвыпивших рудокопах, а на верхнем этаже была застрелена восемнадцатилетняя Элизабет Несбит, одна из ночных бабочек. Убийство совершено было Стэном Доу, который заявил приисяжным, будто он поступил так из ревности, обнаружив, что в тот злосчастный вечер Элизабет не дождалась его и приняла постояльца отеля, наладчика шахтного оборудования из Лас-Вегаса. Стэн Доу утверждал, что намерен был жениться на Элизабет, и не понимал, что делает, в результате чего избежал смерти на электрическом стуле и был отправлен в лечебницу. А призрак его невесты с тех пор время от времени можно видеть и слышать. Но чаще слышать – из толщи стен и воздуховода доносится женский плач. Случается, Элизабет Несбит является в конце коридора в своем любимом красном платье, а иногда проникает в номер и ложится рядом с гостем на постель. Наутро постоялец на прикроватной тумбочке находит свидетельство – серебряную сережку, одну из пары, что была подарена Элизабет в день помолвки Стэном Доу.

После душа я едва нашел в себе силы одеться, спуститься вниз, где в пустом ресторане съел стейк и сел за стойку выпить пива. Бар был совмещен с казино; в допотопной кассе восседала девица, торговавшая фишками, в черных кружевах и в шляпке с вуалью; проходя к стойке, я наклонился получше разглядеть ее, но отшатнулся, поразившись мертвым глазам манекена.

Тут за стойку села парочка сухопарых супругов, заказавших по миске салата и стакану молока. Заунывно поглощая все это, они разглядывали по очереди карту и перелистывали уже знакомую мне книгу с черно-желтой обложкой «Привидения для чайников», от которой я теперь не мог оторвать взгляда, чем вызвал беспокойство мужчины лет пятидесяти, в клетчатой рубашке, чопорно поджавшего губы и переложившего книгу поближе к жене.

Перед сном я взял с тумбочки брошюру, полученную от девкалиона Мартина, но скоро отложил, включил телефон и набрал номер жены. Глухо. Позвонил на домашний, с каждым гудком замирая, но с тем же успехом. Послал смс: «Кота перевезли обратно в Юту. Завтра выезжаю в Роквилль», – и поторопился выключить телефон.

Я уже не отличал явь от сновидения; уже плыли передо мной чужие планеты, собираясь в чашу галактического амфитеатра, – небольшие, занятые величавыми старцами, стоящими, как римляне в сенате, в длиннополых бело-пурпурных одеждах, а за их спинами на каждой планете трудились в садах нагие девичьи тела, проглядывавшие в зелени, как апельсины в листве, – и тут сквозь сон я услышал топот, будто кто-то громыхал по подмосткам, выбегая на сцену, потом крик, еще раз пронзительно закричала женщина, раздалась ругань и после плач, сначала навзрыд, затем кто-то заскулил. Я не собирался выходить, но вдруг что-то подняло меня, и я приблизился к двери. Ничего не разобрав, я снова лег, опять вскочил и все-таки оделся, открыл дверь, прошел по коридору и поднялся на один пролет к чердачному этажу. На ступеньке, обхватив колени, сидела худенькая девушка в красном старомодном платье, плечи ее вздрагивали от рыданий. Она взглянула на меня, и я увидел пьяные слезы, зарезанное личико, размазанную по щекам тушь. «Вы в порядке? Что случилось?» Она кивнула, залепетала: «Я повздорил со Стэном, он чуть не придушил меня, ударил, вот так, вот так», – взмахнула кулачком, и дальше ее было не остановить. Я присел на корточки, чтобы убедиться в ее физическом существовании – Элизабет, хрупкой девочки, сегодня днем ринувшейся наперерез «Эквиноксу».

В это мгновение я снова испытал редкое чувство – возбуждение исследователя, столкнувшегося с тайной открытия. Впервые со мной это произошло на Памире, летом между первым и вторым курсом, на летней практике, на высоте четырех с половиной километров. Тогда, укладывая вместе с однокурсником Гошей Серебряковым тонкие свинцовые листы на кассеты с фотоэмульсионными пленками, я услышал памирскую легенду о верхних людях. В те времена на такой высоте в приграничной глухомани воровать свинец было некому, но все равно по протоколу к складированным его запасам был приставлен вечный сторож, местный житель Рахим, лет тридцати пяти, без переднего зуба, но со стальной фиксой на клыке. Обычно он сидел неподалеку от нас на корточках и держал в одной руке карандаш, а в другой бухгалтерскую книгу, в которой ставил галочку после того, как мы поднимали из стопки лист, вносили в ангар и укладывали в реперную рамку из дюралевого уголка. Рахим скучал и на перекуре травил нас байки из своей жизни в стройбате, а служил он в Подмосковье и этим был горд не менее, чем тем, что в данный момент ассистировал столичным студентам в их необъяснимом деле. Рахим любил описывать себя в самоволке: он весь озарялся мечтательным воодушевлением, вскакивал на камень, расправлял плечи, сдвигал на затылок воображаемую пилотку и, обнажив под верхней губой фиксу, сплевывал и приговаривал, явно изображая кого-то, кто когда-то вызывал в нем восхищение: «Милка, дай пива!»

Однажды беззаботный Рахим переменялся в лице, упал на колени и стал истово кланяться и бормотать, косясь вверх и прикрывая затылок. «Что такое, Рахим?» – удивились мы. «Верхние люди прошли. Шесть человек, с оружием и собаками». – «Что за верхние люди? Чего перепугался?» – «Вам, городским, не понять. У нас, на Памире, есть нижний мир и есть верхний мир. В нижнем мы живем, то есть колхозы, совхозы, наши собаки, наши бараны, козы, машины. А как помрем, так часть из наших переселяется в мир верхний. Он почти прозрачный, а жители его ходят по воздуху. Иногда они приходят к нам и забирают скотину или живого человека уводят, если у них там не хватает рук для чего-то. Или девчонок замуж забрать могут.

Некоторые возвращаются, а некоторые нет. Мать моя рассказывала: когда еще не замужем была, у них в ауле одна женщина жила, про которую говорили, что муж ее – из верхних. Никто из соседей к ней не заглядывал, боялись, да и она сама ни к кому не ходила; болтали про нее, что она спит на ходу, потому что ночью ей муж спать не дает». Я удивился: «Так получается, в ваших поверьях тот свет устроен подобно нашему миру, никаких отличий, просто туда мертвые переселяются вместе со своими пожитками?» – «Не все туда попадают, а может, мертвые совсем и не туда идут. Я тебе говорю – я вижу их: вдруг в воздухе засверкает, заблестит, будто вверху сойдутся много лезвий; их не видно, только когда поворачиваются, блестят». – «А какой они высоты?» – «Я знаю? Пять метров, шесть. И кони у них, как два слона». – «Так получается, когда верхние забирают живых, они их в великанов переделывают?» – «Зачем? Живые там у них в рабах ходят. Никто у нас про верхних ничего не знает, только бояться их, и всё. Кому охота раньше срока у верхних на снежных пастбищах рабствовать?». – «А где же они пасут своих коней? Им самим-то ведь тоже нужно чем-то питаться?» – «Они снегом питаются, а кони их лед лижут, как наши – соль. Живут верхние на неприступных вершинах, куда только альпинисты могут забраться. Говорят, перед тем как Сарыз затопило, они явились ночью в аул и всех жителей забрали к себе». – «А это что за история?» – «Землетрясение было, прорвало плотину на аул, теперь там озеро». – «А почему к себе взяли, а не спасли?» – «Зачем спасать, когда к себе забрать можно?»

Тогда история про верхний мир прозвучала для меня как объяснение недоступности горных вершин, издревле испытывавшей местных жителей. Никому из памирских жителей, хоть и привычных к высокогорью, ибо уродились здесь, не приходило в голову штурмовать горные вершины, чьи недостижимость и притягательность рождали мифологизированное к ним отношение, фольклорно выразившееся в легенде о верхнем мире и прозрачных его жителях-великанах. Но понемногу я начал различать иногда в массивных букетах заката слоистые структуры и граненые силуэты всадников, которые зарывались в кучевую сердцевину, пронизывали облака мерным галопом. Все то далекое студенческое лето я поглядывал вверх: не мелькнет ли где-нибудь блистание множества углов.

Я спустился в бар, заказал пива, пригубил бокал и понял, что Элизабет пахла только что скошенной травой. Сейчас она сидела, тихонько глядя перед собой, на свои положенные на стойку руки. «Повторить пиво, сэр?» – кивнул бармен, и я сообразил, что он не видит ее.

– Да, пожалуйста. И «Кровавую Мери» для моей девушки.

– Для вашей девушки. Она сейчас спустится?

– Да, для Девушки в красном. «Кровавая Мери» – это то, что ей нужно, – отвечал я.

Бармен не сразу улыбнулся:

– А, точно, это ваши такие специальные шутки. Никак не привыкну с тех пор, как мы открылись с этой новой фишкой про Леди в красном.

– Понимаю, – сказал я, – так что будьте уж добры, добавьте немного чили и края бокала обмажьте беконовой солью.

– Обижаете, сэр, у нас хоть и глушь, но я родом из Сан-Диего и порядки знаю.

– Тогда удвойте порцию в честь нашей дамы за мой счет, а мне еще стаканчик пива и текилы, – сказал человек с длинными, собранными в хвост волосами, взбираясь на высокий стул. – Вы тоже приехали поохотиться на Даму в красном?

– Я проездом.

– А я здесь вторую неделю. Мы с Мэрилин собирались зависнуть дня на три, но подвернулась отличная компания. Чак, Уоллес, Крейн, милашка Долли... Мы любим вот так скорешиться с другими охотниками за привидениями и прокатиться в отпуск по одному маршруту. В прошлом году Чак и его подружка колесили по Алабаме, позвонили нам, и мы тут же при-

мчались. Тогда мы охотились за старой девой, которую нашли в высохшем колодце, и с тех пор ее призрак являлся в кронах деревьев, перелетая с места на место.

– Но ведь это может быть ночная птица? – заметил прислушивавшийся бармен.

– Это я-то не смогу отличить призрак старухи с развевающимися волосами от совы? Да у меня зрение как у орла. О, приятель, прости, я двину к своим, – вдруг сказал охотник за привидениями, оставил пятерку, опрокинул рюмку, взял бокал с пивом и отошел к компании, толкавшейся у музыкального автомата и спорившей, чего бы такого послушать.

Глава 4

Странник

Миссис Крафтверк только что пропылесосила чучело медведя и теперь мягкой щеткой приглаживала вставшую дыбом шерсть.

– Доброй ночи, миссис Крафтверк, – сказала запыхавшаяся Элизабет.

– Рада тебя видеть, девочка, – кивнула миссис Крафтверк, на которую всегда снисходило благостное настроение, когда она занималась своим медведем.

– Миссис Крафтверк, – сказала Элизабет, – в четыреста третьем бузит русский.

– Не бойся, девочка, – отвечала ей старушка, нахмурившись, но продолжая сверху вниз выглаживать щеткой косолапого. – Я позабочусь об этом. И не забудь взять свои деньги.

Элизабет встала на цыпочки и, перегнувшись через стойку, вытащила из-под кассового ящика три двадцатки.

– Спасибо, миссис Крафтверк! Я побежала.

– До свидания, дитя мое, приятных снов, – пробормотала старуха, продолжая орудовать щеткой и сейчас же забывая предупреждение Элизабет.

Той ночью я даже не пытался заснуть, долго стоял у окна. Фонари освещали паркинг перед гостиницей, на котором стоял десяток автомобилей, включая мой «Эквинокс». Пустыня тонула в звездной тьме. Пятнышко неизвестной туманности, казавшейся незначительной и безымянной, на самом деле содержало сонмы звезд и дрожало на краю поля зрения. В коридоре протопал кто-то из постояльцев; я слышал, как он рыгнул.

Духи пустыни носились передо мной неясными тенями. Я решил прогуляться, выскользнул из гостиницы, помахав дремлющей за стойкой миссис Крафтверк, перешел через дорогу, тут же побеспокоил взмывшую из-под ног птицу и через несколько шагов зыбуче провалился в какую-то нору. Я шел наобум все дальше, то увязая в мелком текучем песке, то выбираясь на травные кочковатые участки. Почти сразу я утратил ощущение близости жилья за спиной. Терпкий запах трав, дрожащие звёзды над головой, на которые я опасался долго смотреть, чтобы не закружилась голова, – всё было настолько ярким, что мне показалось, будто мироздание всматривается в меня. Я хотел было сдаться и упасть навзничь в отверстие во всю окружность горизонта небо, как вдруг звёзды запрыгали вокруг, точно я теперь смотрел на них в бинокль, и пустыня ожила. Я присел на корточки и охнул. Повсюду проступили, как силуэты в негативе, подвижные духи пустыни. Вверху, очерчивая уровни небосвода, метались и проплывали сгустки легкокрылых существ; многие не обладали сформировавшимся обликом, как если бы оставались недоношенными, проточеловеческими сущностями. Они, казалось, не замечали меня, и я был тому рад, хотя любопытство и заставляло вытягивать шею, чтобы посмотреть вослед очередному особенно причудливому духу, безрукому, с обезображенной костяным наростом головой, с бесформенным туловом, трехпальцевыми клешнями или с отчетливым лицом, человеческим, даже с усиками и бородкой, но с телом крылатого пузатого козла, с острыми копытами и куцым оттопыренным хвостом. Крылья у духов менялись в размерах – от носового платка до журавлиных; один пронесся так низко и явственно, что обоняние учуяло мускусную нотку, тут же сменившуюся ошеломительным запахом реки, точнее, только что вынутой из нее рыбы. Духи понемногу стали замечать меня, некоторые снижались, всматриваясь и пугая сильнее, доказывая мысль, что ангелы и существа бесплотные не обязательно антропоморфны. Один, вполне очеловеченный, подлетел и вопрошал мысленно и с помощью жестов и телодвижений, словно смысл вопроса в виде тока пропускался через существо и был слышим не только как передача мыслей, но и благодаря своеобразной пантомиме, похожей на ту, что я видел когда-то в одном небольшом парижском театре, куда во время

отпуска увлекла меня жена. Всё это – и про мысли, и про пантомиму, приведшую в восторг еще крохотную тогда дочку, – я понял только потом, когда в самом деле осознал, что язык духов, каков бы он ни был, подлинно всечеловечен. А тогда я ощутил вопрошание: «Ты кто таков?» – озадачил меня атлетически сложенный, но с разорванным от уха до уха ртом бритоголовый дух. И я отвечал: «Я? Я никто». «А-ха-ха-ха...» – раскатился громовым хохотом дух. – Никто – это я. А ты – ты кто?» – рявкнул и распрямился. «Я человек. Я послан женой своей отыскать ее больную мать и вернуться с ней обратно». – «Это вот эту?» – ухмыльнулся беззубым ртом дух и ткнул большим пальцем себе за спину. Там как раз проплывала небольшая лодка-колыбель, и в ней навзничь лежала полупрозрачная женщина, в которой я едва узнал свою тещу, Кота, Викторину Павловну: лицо ее показалось молодым, разглаженным, даже фарфоровым. «А-ха-ха!» – захохотал снова дух и взвился в небосвод.

Я еще долго сидел на теплой земле, то сокрушаясь, то восторгаясь тем, что мне дозволено было видеть. Объемный калейдоскоп из различной плотности существ сновал надо мной и скрывался, сгущая трассирующие свои пути в пучок, утыкавшийся позади в Тонопу, у подъемной башни шахты. Это было похоже одновременно на бесшумный, с приглушенной яркостью салют и некое театральное шествие, заполнившее сеть воздушных дорог. И я вдруг почувствовал себя ребенком. Вера в сказочные события вернулась ко мне – живая и теплая, как щенок. Но я все равно не смел и помыслить, что наконец-то исполнилось мое детское желание присоединиться к игре, которой были поглощены взрослые и чьих правил я не был в силах постичь. Изредка до меня доносились обрывки речемыслей пронесившихся надо мной существ, что складывались в некий ропот, то хоровой, то мычащий, то хохочущий, то стонущий. Духи, казалось, неслись к звездам подобно тому, как ласточки выются у своих гнезд, прилепленных где-нибудь под сводами моста или под куполом заброшенной церкви, возвращаясь из полей с добычей. Во всяком случае, звёзды если и не были напрямую гнездами этих существ, то участвовали в этой оптической иллюзии. За этим зрелищем можно было наблюдать отстраненно и безболезненно – так туристы в горах в начале августа проводят ночи напролет под чиркающими по небу шипящими искрами Плеяд, – но я едва сдерживал восторг и ужас.

Постепенно видение стало нестерпимо, и я побрел обратно – к бензоколонке, к ее озадаченному фонарями портику, где темнели стеклянная колба магазинчика и кассы. Я вошел под портик, настороженно поглядывая вверх, чтобы убедиться в надежности потолка: защитит ли он меня от нашествия духов. Я простоял так час, другой, и духи явились вновь; один выглянул из-за колонны, отражение другого я заметил в озерце ведра, откуда торчала рукоятка скребка для протирания стекол. Я стоял и думал: как то, что я видел сегодня, относится к темной материи? Из существующей логики эта связь была невыводима. Но кто сказал, что логика вообще что-либо диктует миру? Я думал о Енохе, любимом библейском персонаже Ньютона. Енох был первым ученым-пророком, он обладал таинственной для ветхозаветных времен страстью к познанию устройства мироздания. Архангел Метатрон поднял его на небеса, чтобы показать внутренние механизмы Вселенной. Ньютон поражался тому, что Енох описывает звёзды как «горящие горы», ибо мысль, что небесные светила суть протяженные объекты, а не точки на небосводе, для той поры глубоко нетривиальная. Это Енох впервые объяснил человечеству, что можно попасть живым на небеса, в мир потусторонний, и вернуться обратно. Одно время, в третьем-втором веках до нашей эры, фигура его была настолько важна для евреев, что можно говорить о енохическом иудаизме; существовало несколько апокрифических книг Еноха, от которых осталось лишь короткое упоминание его имени в Книге Бытия. Мне, конечно, до Еноха было далеко, но за что только мозг не ухватится в попытках удержаться на плаву.

На рассвете я отправился в отель, поспал, принял душ и спустился к стойке, где дождался, когда миссис Крафтверк вернется, чтобы выпить кружку кофе и расспросить о девушке в красном платье, где та живет. Старушка отвечала, что Элизабет вчера как раз беспокоилась обо мне, а живет она на южной окраине Тонопы, в одном из трейлеров, точнее не скажет.

Я отправился в путь, на всякий случай заправив «Эквинокс». Я постучал в первый трейлер, мне никто не открыл, и я сунулся наугад в другой; дверь распахнул ногой безрукий человек.

– Пицца? Так быстро? – инвалид взмахнул культиями.

– Простите, где живет Элизабет?

– Я заказывал на завтрак пепперони, а не твою рожу. Элизабет? Это девчонка, которая работает в гостинице?

Я кивнул.

– Окей, я тебе доложу, приятель. Живет она неподалеку, отсчитай четыре дома вдоль этого проулка. Но я тебе не советую к ней соваться. И знаешь почему? Потому что Робби-мотыга повадился к ней шастать, – безрукий ухмыльнулся и подмигнул.

Я повернулся и зашагал к цели.

Открыла мне Элизабет, пригласила войти. Я уселся в кресло, глядя прямо перед собой. Я молчал. Только когда она вздохнула и тихо сказала: «Господи, что же мне делать?» – я посмотрел на нее и прошептал: «Калошадка вернулась». И это были единственные слова, что ей удалось от меня услышать. Она кричала, она пихала меня, пытаясь выдворить из трейлера. Наконец ей стало жаль гостя, и она оставила меня в покое. Тут как раз вагончик вздрогнул – дверь распахнул кривоногий рыжий парень. Подождав, когда глаза остынут от зноя, он огляделся и гаркнул:

– Что здесь, черт возьми, происходит? Дорогая, ты не говорила мне, что отсасываешь на дому.

Парень вышвырнул меня из вагончика, и, поднявшись с земли, я побрел, побрел и кое-как набрел на «Эквинокс».

Утром, выписываясь из номера, я заполнял подсунутую миссис Крафтверк анкету отзыва о пребывании в отеле «*Mizpah*» и напротив вопроса: «Удалось ли вам наблюдать привидения?» – поставил аккуратную галочку.

Глава 5

Ссадина

В 16:47 я встал на обочине, включил аварийку и взглянул на карту, чтобы соразмерить свое местоположение у *Bison Creek*, который я только что миновал, с *Chinook Cliff*.

По адресу 623 *Stevenson Road* мне открыла женщина, которой, оказалось, не нужно было объяснять, зачем я здесь. Она кивнула мне с грустной улыбкой и сказала: «Мы ждали вас», – однако осталась стоять передо мной в нерешительности. Потом произнесла: «Я хочу пригласить вас в дом. Но прежде прошу пройти процедуру дезинфекции – у нас маленькие дети, много маленьких детей». Я шагнул в переднюю, и там мне пришлось надеть бахилы, чепчик, бумажный зеленый халат и намазать руки по локоть ржавой пеной, выдавленной из сифона. Меня посадили за стол в гостиной, где под присмотром двух молодых женщин играла стайка детишек, подали стакан со льдом, который залили водой из кувшина. Лед затрещал, и напротив меня за стол села открывшая мне дверь женщина. «Я Мэйдлен, старшая жена мистера Стивена Хинкли, – сказала она. – Мы все с нежностью вспоминаем вашу мать и с горячей надеждой восприняли ее переход к новой жизни». «Мать? К новой жизни?» – подумал я, желая поскорей снова оказаться за рулем «Эквинокса». Я взял ледяной стакан и впился в край губами. «Я догадываюсь, вам это важно знать, и я не премину сообщить, что мы похоронили ее на одном из почетных мест нашего семейного кладбища». – «Похоронили? Уже похоронили?» – только и сумел вымолвить я. Женщина кивнула, а кудрявый симпатяга-мальш подбежал ко мне забрать подкатившийся под ноги мяч. «Вы хотите взглянуть?» – спросила Мэйдлен. «Конечно, конечно, я желаю взглянуть и взгляну», – бормотал я, срывая с себя стерильную амуницию, не находя, куда ее бросить, и мельком соображая, как я выглядел там, в гостиной, – наверное, дети привыкли к незнакомцам-пугалам.

До кладбища оказалось рукой подать, но по такой жаре и миля – край света. Погост напоминал небольшой город, в котором могли бы жить лилипуты, – множество приукрашенных усыпальниц, притопленных в землю, как домики хоббитов-эстетов, пожелавших выстроить псевдоготические жилища, больше похожие на крохотные модели знаменитых соборов, чем на надгробия. На одной богатой усыпальнице я заметил среди химер и густой растительности прилепившуюся фигурку космонавта – в скафандре, ботах и рюкзаке с кислородным баллоном.

Могила, к которой меня привели, входила в когортку других погребений, окружавших склеп необычного вида, напоминавший спиралевидную Вавилонскую башню; могила была покрыта свежим дерном и производила впечатление, будто она здесь уже давно, если бы мрамор не предьявлял совсем свежую дату захоронения. Кроме того, на камне значилось имя *Victoria Belsky*. Я стоял и смотрел на надгробие, понимая, что потерялся в календаре, что дата, которая стоит на камне, по ощущениям, еще не настала, – но сколько я зависал в Тонопе?

Распрощавшись с Мэйдлен, я влетел в «Эквинокс», врубил на всю катушку кондиционер и, включив впервые за все это время телефон, стал посматривать на спидометр.

Жена ответила не сразу, что меня чуть успокоило. Я сказал, что все еще в поездке, что Кот умерла, что был на кладбище и что сам приеду вскоре, как только доберусь до аэропорта. Связь оборвалась, я отослал фотографию могилы и тут же выключил телефон, ощущая острый запах чего-то медицинского, больничного, которым меня вымазали в девкалионском жилище. Я весь благоухал йодом, как ссадина.

Солнце Невады испепеляет реальность. Вдруг впереди появляется голубоватая дымка – соляная пудра, поднятая с солончака порывом ветра. Песочные смерчи вспыхивают и гуляют

там и здесь, внезапно подлетая к обочине, и, провожая автомобиль, отплясывают, крутятся юлой, как суфий¹⁰, и так же внезапно шумно отдаляются. По сторонам изредка возникают уединенные ранчо – в сущности, свалки прожитых здесь предметов: подобные каравеллам автомобили 1960-х, циклопические грузовики конца 1980-х, разные поколения мобильных домов, превращенные в сараи. Вокруг на сотни миль простираются военные полигоны, сообщаемые с миром только при помощи самолетов. В 1950-х ядерный гриб виден был из Лас-Вегаса, а сейчас с гражданских дорог можно увидеть, как стратосферу пронзает баллистическая ракета, после чего небо дышит свечением ионизованного воздуха, подобным полярному сиянию.

Но вот Невада позади, и я на пороге заповедника Сион. Юта полна библейских топонимов, точно так же, как среди девкалионов предостаточно имен героев Пятикнижия. Те самые нефийцы, среди которых проповедовал Девкалион, названы были по имени Нефия – пророка и народного лидера, который с семьей покинул Иерусалим в седьмом веке до Рождества Христова и прибыл в Америку, чтобы привить здешним народам монотеистическое свободолюбие израильтян. Не знаю, есть ли среди девкалионов верование, что они одно из затерянных колен Израиля. Знаю только, что книга Девкалиона среди прочего содержит краткую запись летописи древних нефийцев.

В Сион я въехал в сумерках и ничего толком не успел рассмотреть, кроме приковывающих взгляд красноватых скал. Я нашел отель, поселился и тут же упал в бассейн, откуда, хорошенько отмокнув, отправился в ближайший ресторанчик, где выудил из меню местную форель, зажаренную во фритюре, и бутылку белого из *Napa Valley*. Ужинал я на террасе с Млечным Путем наедине, проступившим брошенной в синий бархат горстью соли. Осознав это, я понял, что возвращаюсь к жизни. Я позвонил отцу, мы немного поболтали. Я рассказал ему о своих приключениях, но он впечатлился слабо. Эта его отстраненность показалась мне подозрительной. Когда-то она означала, что он собирается уйти в отрыв, исчезнуть без предупреждения на некоторое время. Что ж поделать? Я никогда ни в чем не был способен его переубедить.

Что касается местных особенностей в обычаях, то из-за принципиальной герметичности девкалионов узреть что-то необычное шансов не было; правда, трудно было не заметить, что в Юте на заправках и в магазинчиках владельцы не здороваются с посетителями. Такое со мной случилось лишь в Эдинбурге, но шотландцы вообще ребята суровые.

В каньон *Virgin River* отправляется множество народу, вот только немногие достигают мест, где небо сверху смотрит на вас сквозь смежные веки пропасти, и скалы вокруг, и каверны нависают сумеречно, как будто вы находитесь на улочке средневекового города крестоносцев, соперничающего по высоте зданий с Манхэттеном. Журчит река, глубина которой здесь по лодыжку, но случаются на пути и ямы по пояс и по грудь, в которые приятно окунуться, изнемогая от жары и усталости, – так что гермомешок для фотоаппарата, мобильного телефона и сухой одежды обязателен. Я достиг почти пещерного холода у развилки, где толща каньона расщепляется надвое, – здесь в *Virgin River* впадает ее невеликий приток. Скалы берега вытесаны водой, формы их изборождены плавными желобами, отмечающими средние уровни сезонных паводков, с завихрениями и глубинными нишами, подобными желобчатым виражам саночной трассы. Все это окрашено сангино-мглистым, как на картинах Рембрандта, таинственно-сумрачным цветом. Дальше развилки, носящей название *Wall Street*, я не рискнул идти, хотя впереди лежал еще десяток миль подобных приключений: упираясь посохом в камни, шагать по бегущей воде, задирая голову, чтобы оценить высоту погружения в осадочную толщу планеты.

¹⁰ Танец суфия (отшельника, дервиша) – специальное мистическое действо, кружение вокруг собственной оси в течение длительного времени.

Юта – дно высохшего бессточного бассейна, изрезанного водомоинами, реками, расколотого ледовыми клиньями, большими и маленькими. *Bryce Canyon* – шедевр эрозии: причудливой формы столбы и гряды, напоминающие шахматные фигуры или идолов острова Пасха, цвет известняка меняется здесь от рудого до фарфорово-лимонного, чуть даже просвечивающего вглубь. Каньон этот – индейское святилище. Каменные столпы, населяющие его, зовутся *hoodoo*. Слово имеет индейское происхождение и стало геологическим термином. Скажем, Каппадокия тоже населена именно *hoodoos*. Столпы *Bryce Canyon* и в самом деле напоминают широкоскулых истуканов. Когда-то вулканическая лава изверглась на дно древнего моря, и базальтовая корка легла сверху известняка; потом она растрескалась, и все, что было под отдельными плитами, оказалось в сохранности. *Bryce* завораживает особенно на закате, после исчезновения солнца, когда каньон наполняется тихим отраженным, телесно-теплым светом. Все пребывание в Юте я спрашивал себя, почему этот ландшафт так воздействует на восприятие. Загадочным тут казалось всё: и нелюдимые девкалионы, и обилие библейских коннотаций, и то, что это было самое тихое место из всех, где я бывал. Но не это главное. Не только тишина вселяет в вас особенную впечатленность. Все дело в цвете, в особенных, чуть красноватых оттенках сепии, которыми наделены здешние известняки – от лимонно-розоватых *Bryce Canyon* до кирпично-багряных готических стен *Capitol Reef*. Причина этого – в специфике осадочных пород, из которых сложены испещренные эрозией равнины, долины и горы Юты, представляющие собой настоящие холсты для скрупулезно филигранных или размашистых кистей и резцов – воды, ветра и солнца. Было бы хорошей задачей для науки о перцепции выяснить, почему человек так чувствителен к определенным сочетаниям цветных плоскостей большого масштаба. И начать следовало бы именно отсюда, с Юты. На эту мысль меня натолкнуло воспоминание о гигантских полотнищах Марка Ротко. В полотнах родоначальника абстрактного экспрессионизма и автора одной из самых дорогих картин на планете зафиксированы иероглифы ландшафта *Virgin River*. Это сочетание красноватых, насыщенных окислами железа скал, крытых пронзительно-глубоким небом, крепко связано для меня с цветовыми полями Ротко, который, без сомнения, работал с открытиями архетипов цветосочетаний, занимающих без остатка все поле зрения человеческого глаза. Представляете полотно высотой в сотню метров и куполом ультрамарина над ним? Ротко, в определенном смысле, писал пейзажи, доведенные до своей квинтэссенции, до предела восприятия.

Как-то так меня понесло, насчет палитры Юты. Вслух такое подумать я бы не посмел: жена б меня высмеяла, сказав, что мои умничанья – жалкая пародия на выдумки моего папаша, а отец только бы ухмыльнулся: он никогда не принимал от меня ничего всерьез, кроме науки.

Глава 6

Жена

Как-то раз жена, еще питавшая снобистский интерес к литературе, вкрадчиво сообщила, что ее подруга-однокурсница, о ту пору уже доктор филологических наук, специалист по творчеству Юрия Тынянова, изъявила любопытство, и что я мог бы отдать ученой даме достояние своей личной республики – подборку стихов отца – на экспертизу художественной ценности. «А чего ты боишься?» Я размышлял месяц и все-таки не решился. Но жена сама уткнула у меня из папки листки. Ответом стала двухстраничная рецензия ни о чем: «Школа Бродского, влияние метаметафорического наследия Парщикова» – у меня дрожали руки при чтении.

В позапрошлой жизни Юля какое-то время была девушкой отца – я тихонечко влюблялся в некоторых пассий своего папаша, подсознательно считая это правильным для взросления. Отец был флагманом не только для меня. В нашей компании, вращавшейся вокруг него, следили за тем, какие книжки появлялись в его руках, кого он цитировал – Камю, Милоша, Шестова, – что слушал, какие приносил кассеты от своих консерваторских знакомых, проповедовавших авангардную музыку, – Булеза, Штокхаузена, Фриза; все это становилось обязательным для прочтения, прослушивания и обожания с целью внутреннего развития. А какой переполох приключился, когда у отца появился «Опиум» Жана Кокто – страницы на недосягаемом для обыденности языке, страницы, отдающие тошнотой богов, Шагалом, надрезающим кистью небо по холсту, и Модильяни, бросающим охапку роз в парижское окно ломкой русской поэтессы. К тому же на портрете Кокто разительно походил на отца – твердой очерченностью овала, непреклонностью скул и подбородка, густыми волнистыми волосами, зачесанными вверх, выразительными веками и пронизывающим взглядом волхва.

Как раз в той окрестности «Опиума» я и встретил Юлю. Она взглянула на меня, приподняв голову с плеча папани, – парочка сидела на подоконнике лестничного пролета главного учебного корпуса ВГИКа, куда мы заходили посмотреть вместе со студентами мировое кино, – и я замер.

Тот день я запомнил тем, что ничего в нем не было, кроме лица Юли, мерцавшего отсветом кадров «8½»: на нее я смотрел больше, чем на экран, освещавший шею, ключицу, плечи женщины, с которой мне суждено было быть вместе.

Осенью того же года у матери отца обнаружили опухоль, и они срочно уехали в Израиль, где бабушка (это она ловила черепах) прожила еще три года, а отец так и не вернулся. Я прилепился к Юле тогда же, ночью в Шереметьеве. Смесь отчаяния и зависти перед неизвестностью, предстоящей отцу, бывшему на пике популярности – сборник «Список облаков» с предисловием Бродского вышел той весной, – объединяла нашу компанию, напившуюся из рукава и подзабывшую о печальности повода, по которому мы и оказались здесь, на краю воздушной воронки в пространстве. Наконец отец послал нас к черту и повел мать к таможне, а у меня на руках осталась пьяная Юля, все время бормотавшая: «Не уезжай, ты ничего не понимаешь, как грустно...» Мы вышли под эстакаду, где дежурили бомбилы, и ее стошнило на капот «мерседеса», а мне пришлось снегом счищать конфуз перед молча выдвинувшимся из-за руля водилой.

Я выждал, когда время залижет Юлины раны и отвращение сменится привычкой. Каждый вечер я с «Арбатской» мчался на Поварскую, чтобы встретить Юлю у Гнесинки, а после вечеринки она всегда знала, кто проводит ее немимым дозором. Спустя год Юля обвыкла достаточно, чтобы потерять бдительность, залететь, родить дочь и не оставлять меня надолго. Нынче утвердившаяся в достатке, но чем-то не удовлетворенная, тщеславная, обретшая себе невеликую, но уютную нишу в социальной среде современной культуры, взвешенно изменявшая (при

том что в глубине души испытывала ко мне и сентиментальность, и ревность), в последние лет шесть она нашла занятие, способное ее утолить: завела блог «Лоскутный Заяц», где публиковала мнения о том и об этом, о московских барах, о литературе, светской культурной жизни, – и внезапно стала критиком-инкогнито, которого опасались. Постепенно блог наполнился уничтожительными рецензиями – они сбрасывали с пьедесталов и разрушали иерархии и приличия, собирали сонмы лайков, рукоплескания в комментариях и репосты. Паллиативно скрываясь за кротким псевдонимом, Юля собирала под лоскутные знамена все более обширную армию радетелей своего таланта народного мстителя. Она явно упивалась тем, что ее светскости и ума, стилистической убедительности и темперамента достаточно, чтобы разгромить любой сколь угодно премированный и растиражированный авторитет.

Меня жалила ее придиричивость; что бы, казалось, ей до моей жизни, моей науки – ей, ухоженной, состоятельной, умной женщине, властной снобке, жесткой и упрямой, с особенным диктатом в представлениях о прекрасном? Полгода на двенадцатом этаже нового дома на улице Климашкина, на двух сотнях квадратных метров некий модный московский дизайнер воплощал интерьеры ее подсознания, в результате чего все предметы оказались прикручены к полу и стенам намертво; кровати, лежанки и подложки под пуфы, журнальный столик и обеденный стол – все было изваяно из бетона; спальня жены выкрашена в цвет шоколада и изображала альков-пещеру, с размашистыми сангинными петроглифами и наскальной охотой на бизона. К счастью, мой кабинет-спаленка был помилован. На следующий день после новоселья, осознав, что напоминаю себе того бизона, я стоял у окна и смотрел, как снег ложится на жестяные кровли, на палисады, как дворники прочерчивают далеко внизу контурную карту конца ноября, и впервые за два десятка лет задумался о том, что именно глубинно связывает меня с женой.

Осеннее время поднимало меня с места и опускало в кроссовки. Я натягивал штормовку, и Москва трусцой набегала на меня. Тем утром, вскоре после моего возвращения из Юты, подморозило и приходилось то ступать на мысок, то раскорячиться, то поскользнуться, растянуться, ища дополнительную опору, где успели поработать дворники, встававшие спозаранку узбеки, слава Ташкенту, когда же, когда же тут станет тепло и хлебно, как в золотозубой Средней Азии, аккуратно, бедненько, но чисто, когда же, когда... а вот тут места нехоженые, здесь лучше сойти на обочинку, а там еще не расплылись зернышки реагента, еще не расплавили наледь до асфальта, сцепления не будет, лучше же надо скрести и сыпать, малоопытный дворник работал, должно быть, тот молодой таджик... эх, Душанбе не Ташкент, это точно, знаем, плавали, точней, летали; кстати, как там «Памир» поживает? Надо ехать! После Янга на фиановской конференции Дедович заикался, что будут восстанавливать станцию. Ага, и тут бы еще не растянуться... огибаем киоск «Колбасный домик», пересекаем Малую Грузинскую, берем курс на «Газеты и журналы» и цветочный киоск, по левую руку оставляем кафе «Айва», никогда не был там, уж лет пять, как открылось, а все брезжит тусклая мечта заглянуть с женой, да хоть и в гордом одиночестве, ознакомиться с меню, о сколько нам открытий вкусных... ой, и тут бы не раскваситься, возраст-то поди уж не младенческий, скелет не гуттаперчевый.

На втором круге из подъездов стали появляться работяги, чтобы ввалиться в «газель», завестись и, хоть спички в глаза вставляй – настолько заспанные, – влиться на ощупь в мерзлый, извергающий клубы выхлопного пара поток Садового кольца, то и дело вспыхивающего заревом стоп-сигналов. На третьем круге, прикрывая рот ладошкой, поспешали офисные девицы; мне нравился этот момент, потому что, случалось, за какой-нибудь тянулся тонкий след необыкновенного парфюма – я все пытался уловить нотку камфоры, появился недавно в воздухе какой-то новый аромат, что нес в себе вот этот сердечно-обморочный оттенок, богини так и должны пахнуть, обмороком; я сдвигал на затылок капюшон, чтобы воздух от горячей спины из-под куртки не заволакивал испариной очки, и припускал к Зоологическому переулку.

Прожив на Пресне жизнь, я ощущал себя здесь по-свойски, как «на раёне». Единственным неприятным на всей Пресне для меня оставался дом, в котором я имел свой угол; мне неприятен был даже двор, где тусовались охранники, стебущиеся над моей «Фабией»: «Помо-
ечку свою, может, отгоните с пандуса?» – «Это не пандус. Это подъезд». – «А нам все одно. Лишь бы вы машинку прибрали».

Венцом неприятных обстоятельств места был выход из подъезда в сторону Малой Грузинской; тут редко, но могло случиться самое гадкое, ибо через несколько шагов по панели я попадал к парадному входу ресторана «Карузо». Здесь обедал самый злачный «жир» столицы. Например, подъезжал «майбах», или «бентли», или «роллс-ройс», а за ним бампер в бампер «крузак» охраны: четыре молодца из ларца с автоматами и в бронежилетах выкатывались из джипа и становились по четырем сторонам, после чего бодигарды выводили хозяина из машины и сдавали на руки уже выглядывавшему из-за двери метрдотелю. Из рассеянности я не раз оказывался под раздачей в самый момент выгрузки и поначалу мешкал, тыкался то влево, то вправо, заставляя охрану ерзать и зыркать.

Перебиваясь с быстрого шага на бег, я проскочил Пресненский вал, свернул на Малую Грузинскую, поднялся в лифте со стеклянной стеной над Пресней, будто пропустил ее в пищевод, и мне стало легче выносить город, когда я оказался в мире крыш – обители отвлеченной, ненаселенной. Жена, расстелив коврик перед окном, занималась йогой. Я сел рядом, отставил ладони и стал дышать. Юля во время занятий была глуха и нема, только покосилась на меня и снова выровняла дыхание. Так мы просидели долго, пока она вполголоса не спросила: «Что случилось?».

И тут позвонил Янг. Разговор длился минуту. Янг сказал, что получил грант для работы с данными Памирской станции. И что, если только я пожелаю, у меня по праву есть месяц их опередить. Я лишь сумел пробормотать: «Понял, успею». Так в одно мгновение переменилась жизнь. Я посмотрел на жену, ожидавшую пояснений. «Я еду на Памир», – сказал я.

Глава 7

В Мургаб

Добравшись из Бишкека в Ош на рейсовом автобусе, я добрел от автовокзала до выездного поста Ак-Босого, где познакомился с японкой Аюко, направлявшейся в Китай. Когда мы потом тряслись в хлебовозке, в щели кузова которой сочились дорожная пыль и лезвия солнечных лучей, я заметил тату-ящерку на ее лодыжке.

После перевала Талдык мы остановились. Замученный болтанкой, я сполз к ручью, опустил в него лицо. Японка разминалась у машины, опираясь на бампер, как на балетный станок; водитель сидел на корточках, курил.

Из Оша в Сары-Таш на границу с Китаем шли порожние фуры, обратный поток с грузом поднимался тяжело, дымя на низких передачах. Водила сказал, что граница с Китаем открыта только пять дней в неделю, поэтому в субботу попутных машин нет.

Сары-Таш находится на перекрестке четырех дорог, идущих на Ош, Таджикистан, Китай и на пик Ленина, и потому через поселок ежедневно струился поток иностранных туристов, включавших Памирский тракт в кругосветный маршрут: велосипедисты, мотоциклисты, пешие. Особенно популярным было направление на пик Ленина, куда стремились сотни альпинистов; иные же ехали в Китай или возвращались обратно, уже бородатые, навьюченные рюкзаками, и детишки встречали их воплями: «Хэллоу!».

В Сары-Таше, у ворот Памира, на меня обрушился позабытый свет заснеженных вершин. Альтиметр японки показывал около трех километров, и я обрадовался, когда она согласилась заночевать в мечети, куда мы добрались как раз к вечерней молитве, на которую явился один только старичок – имам и в то же время муэдзин, встретивший нас на пороге азаном¹¹. Мы поужинали лепешками и кефиром и прогулялись по холмам, окружавшим село, а ночевать вернулись в мечеть. Ночью я слышал, как где-то капала вода, шуршали мыши. В приоткрытую дверь заглядывали звезды, заслонявшие друг друга в толще космического хрусталя; в эту толщу я и провалился, засыпая.

Рано утром мы вышли на трассу и до поста Бор-Дёбё тряслись в кузове, где ерзал плохо закрепленный мини-погрузчик – пришлось на него забраться, чтобы не оказаться раздавленными. Дальше пошли пешком, любуясь слепящими горами, словно отставленными солнечным светом одновременно и в непомерную даль, и в пристальную из-за прозрачности воздуха близость. В полдень зашли в домик к пастухам, где Аюко-Ящерка принялась фотографировать хозяйку, что крутила за столом ручку сепаратора, подливая в него молоко из помятого бидона. Дети тут же заварили чай, поставили на дастархан чашки и тарелку с лепешками, поглотив которые, я тут же захотел прикорнуть; но Аюко, расплатившись, потребовала продолжать путь, и мы, клонясь против ветра, зашагали навстречу меркнувшему небу. Машин не было, высота чувствовалась по тому, как подкашивались ноги. На закате мы достигли барака, где жили пастухи, поставили рядом палатки. В ту ночь я часто просыпался, слышал, как Аюко ворочается, скрежеща зубами и поскуливая во сне. Утром, перед тем как собрать палатку, я походил вокруг бесцельно, хрупая ледком, когда ступал по замерзшим лужам. Мы поднялись к трассе, но сил идти не было – так и просидели на рюкзаках до полудня, пока не показался порожний джип, направлявшийся к таджикской границе, чтобы забрать туристов.

В Кызыл-Арте мне снова, как и накануне утром, когда мы шли, ослепленные сиянием гор, почудилось в воздухе какое-то мельтешение – будто кристалл рассыпался на множество граней, а они, запорхав, составили вдруг крылатое чудище и после снова рассыпались и растворились.

¹¹ Азан – в исламе: призыв к обязательной молитве.

К полуночи мы оказались в Мургабе, где опять ночевали в мечети; на рассвете нас будили старики, пришедшие на молитву, и один из них пригласил нас на завтрак. В полдень стих пронизывающий ветер, всю дорогу забивавший нам уши и рты, выцарапывавший глаза, и теперь я стал узнавать этот городок. На рынке здесь из вагончиков, оставшихся после геологических партий советских времен, торговали втридорога всякой всячиной: гнилыми яблоками, разбавленной газировкой, просроченными медикаментами. Повсюду бестолково бродили люди, и над главной улицей высился огромный стенд: «Достоинно встретим двадцатилетие независимости Таджикистана!»

Здесь я расстался с Аюко; мы обнялись, сфотографировали друг друга на телефоны, и я помог ей загрузиться в джип – с водителем она сторговалась, и он принял ее в группу туристов, которых взялся доставить на границу с Китаем. Так я остался один на один с рыже-серыми горами, с тусклой зеленью, акварельно проступающей в речных поймах, среди густой лазури, окаймленной парусами гор; плато, где я стоял, казалось ступенькой стремянки, с которой можно заглянуть на стропила небес.

От Мургаба до Ак-Архара я шел тридцать верст, и сдавалось мне, я узнаю эти места. Путь мой проходил через выпуклое плато, то узкое, то простиравшееся до горизонта, и все время отодвигавшее зубья горных вершин. Дышать стало легче, и после двух перекладок с машины на машину я прибыл в кишлак, находившийся в устье ущелья Ак-Архар; отсюда мне предстояло подняться к лаборатории физики высоких энергий «Памир-Чакалтая». В пору, когда я был здесь студентом, походы за молоком и сыром в этот кишлак были единственным развлечением практикантов. Станция находилась словно в открытом космосе – кругом камни, скалы, сыпучка, по которой некуда и незачем, да и мучительно для ног гулять: угол обзора и вид не менялись нисколько. После тяжелой работы мы просиживали вечера за преферансом; и было еще развлечение – подняться от кишлака через рощу арчовника к пиру – священному месту, в пещеру, почитавшуюся захоронением некоего великого суфия, когда-то принесшего свет познания божественной сущности в эти пустынные высоты. Посреди пещеры находилось огромное надгробие, выбеленное и выкрашенное синькой. Я представлял себе, что здесь лежит великан – волшебник, воин размером с каланчу. Мне нравилось на закате прийти в пещеру, развести костерок у входа и смотреть на клонившееся за горные вершины солнце, оглядываясь иногда на гробницу, большую и синюю, как небо.

В кишлаке я заглянул на метеостанцию, где познакомился с Хуршедом – сорокалетним метеорологом, владельцем зеленой «Нивы», под капотом которой он проводил существенную часть дневного времени, снова и снова разбирая и продувая карбюратор, требовавший особой настройки жиклёров в условиях высокогорья. Он был мне рад, Хуршед, добродушный памирец с иссиня-черной, без единого седого волоска шевелюрой, с ровными зубами, коренастый, скуластый, с выскобленной солнцем и ветром кожей. Оказалось, он и сельчане уже двадцать лет ждут хоть кого-нибудь, кому можно было бы дать отчет по станции, над которой они взяли шефство. С годами она превратилась для них в храм неведомой религии, они решили сберечь его из почтения, как сберегали, например, русские церкви в республиках Средней Азии. Я стал расспрашивать, сохранилось ли что-нибудь из оборудования, в каком состоянии эмульсионная камера, заряжена ли. Хуршед созвал соседей, привел барана и устроил пир горой; тогда я и узнал, что в начале девяностых явились в кишлак крутые парни с оружием и велели провести их на станцию; осмотрелись, решили продать свинец в Китай и отправились искать покупателя, а тем временем жители кишлака переписали все оборудование и разобрали приборы по домам. С тех пор было тихо, дорогу на станцию рассек оползень, так что большегрузам там не проехать, а этой зимой сошла лавина, примяла ангар.

– А если честно? – спросил я. – Так не бывает. Прошло двадцать лет, и вы утверждаете, что станция осталась в неприкосновенности. За пять лет может исчезнуть город, если его оста-

вить наедине с пустыней. Песок заметет улицы, осыплются кровли, руины смолотит буран. А здесь всего только станция.

– Еще пленный немец строил, крепко строил, – сказал Хуршед. – Ты прав, дорогой гость. Бандиты еще раз приходили, с покупателем, китайцем, пришел смотреть свинец. Жили на станции. Только потом они все бежали. Зверь их порвал. Большой когти, – памирец расставил пальцы и согнул их. – Ашур говорил, что на станцию зверь пришел. Большой зверь, но его не видно, только Ашур видеть может.

– Кто такой Ашур? – спросил я.

– Святой человек, – покачал головой Хуршед. – Сторож пира. Хазрат¹² Перс охраняет нас. Ашур помогает ему. Почему я не хочу в Россию? Четыре раза ездил на стройку, не остался. Здесь мои горы, хазрат Перс нас держит, такой зикр¹³. Горы вокруг – это его молитва. Он держит их и меня вместе с ними.

– Я понял. На станции поселился зверь, который никого к станции не подпускает, а в пещере у пира обитает Ашур, который охраняет могилу хазрата Перса.

Хуршед кивнул.

– А почему никто не видел зверя на станции? – спросил я. – Может, это только медведь?

– Хирс не может быть. Хирс кушать должен, барана драть будет. У нас стада целые, одна-другой баран пропадет, остальные гуляют. Я слышал, как он кричит.

– И я слышал, – закивал человек с татуировкой «Маша + пронзенное сердце» на запястье. – Очень страшно, так зверь не кричит. Пограничники тоже говорили. Начальник их не смеялся. Он знает, что бывает, если верхние приходят.

Хуршед глянул на меня исподлобья:

– Завтра к Ашуру пойдем. Сходим, доложимся.

Я засыпал, предвкушая завтрашний день и переживая, не подпортила ли влага пленки: лавина – дело нешуточное, и, если кассеты пролежали половину зимы и весну под завалом, наверняка что-то оказалось подмоченным. Потом вдруг всполошился: а как же электричество, как насчет электричества? Я ворочался с боку на бок, пока не пробрался в коридор, постучал в косяк двери:

– Хуршед!

– Да, уважаемый.

– А электричество на станции есть?

– Э-э, я отключил трансформатор. Боялся, если кто провода отнять хочет: цветной металл! Завтра я тебе намотаю.

– Стой, Хуршед. Я не понял. Ты обесточил трансформатор и снял со столбов провода?

– Не так немножко. Провод оставил, снял только на «воздушках», чтобы вор не видел.

– Ладно. Просто мне электричество там нужно.

– Если не будет напряжения, возьму у брата генератор. Два киловатта!

Наутро я проснулся один в доме, но в печурке тлел кизяк, за порогом сыпал дождь в кромешной мгле – набежала облачность, и вокруг за несколько шагов ничего не было видно. На станцию подниматься в такую погоду не могло быть и речи, и я присел рядом с печкой погреться, послушать, как шумит на ней и пощелкивает алюминиевый мятый чайник.

Хуршед незаметно возник на пороге, сказал:

– Хоп! Как спал, дорогой гость? – и присел ко мне, раздул огонь, стал варить какао.

После завтрака Хуршед собрал в полотняный мешочек конфеты и лепешки, я взял рюкзак, и мы отправились через арчовник к Ашуру. Я заметил, что деревья нисколько не подросли

¹² Хазрат – обращение к человеку с высоким религиозным статусом в исламе.

¹³ Зикр – исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.

за двадцать лет, потому что арча – медленное дерево, как фисташка или секвойя, она застывает в веках. Пещера оказалась пуста, лишь теплился очаг; там Хуршед и оставил меня, а сам скользнул обратно в туман; оглядевшись, я обнаружил дастархан, медный чайник, котелок, немного дров, которые подложил в очаг, но главное – могилу хазрата. Пламя разгорелось, и я присел к гробнице, представляя, как великан хазрат раскинулся под камнем, но тут жемчужный туман, теперь мешавшийся с дымом, сгустился, и шагнул из него на порог Ашур – высокий человек, с посохом, в брезентовой куртке нараспашку, босой, с закатанными штанинами, со смуглой грудью, твердой и выпуклой, как орех, увешанной амулетами на кожаных шнурах, заросший бородой, но не непроницаемо густо, а с открытым ясным лицом, и главное – с чуть раскосо посаженными газельими глазами. Ашур опирался на узловатый отполированный в верхней части посох; все долгое тело суфия было сложено необыкновенно, пластика сосредоточенных движений, как у фехтовальщика, заставляла следить за ним: тонкие стопы, волосатые сухие лодыжки, израненные колючками, длинные пальцы, вымазанные углем, в мехе бараньей шапочки застряли веточки и травинки. Говорил он по-английски, всё уже знал обо мне от Хуршеда. Английский язык Ашура был британским, выученным по лингафонным пластинкам, размеренным и чуть манерно аккуратным.

Недолго помолвившись у гробницы, Ашур расправил лоскутные одеяла и несколько овчин вокруг плоского камня у очага, насыпал конфет, заварил чай, и мы занялись беседой. Оказалось, Ашур – житель Ирана, суфий, каждый год в апреле оставляет семью и отправляется на послушание; живет здесь до сентября, присматривает за гробницей, кормится подношениями, которые оставляют ему благочестивые паломники и жители Ак-Архара. Еще во времена СССР Ашур приходил сюда ребенком вместе со своим отцом; когда тот умирал, Ашур обещал присматривать за ложем хазрата, что с помощью Бога и совершает: в позапрошлом году Хуршед помогал ему чинить гробницу, крышка которой треснула после землетрясения (потом я рассмотрел на каменной плите, испещренной вязью, трещину, аккуратно замазанную алебастром).

Ашур принял пиалу с чаем от Хуршеда и заговорил:

– Ты собираешься забрать то, что хранится на станции. Я вижу тебя, и я понимаю, что это важное для тебя дело. Но существо, которое поселилось на станции, не даст тебе унести знание.

– Там медведь?

Ашур склонил голову:

– Нет, хирс в арче ходит.

– А кто же там, на станции?

Ашур промолчал.

Хуршед положил руку мне на плечо:

– Ашур скажет – так делай.

– Хорошо, – я кивнул.

Вечером мы сидели у костра, как вдруг совсем рядом раздался рык. Я вскочил. Хуршед схватил из огня горящую ветку. Ашур собрал с дастархана конфеты, лепешку и шагнул в темноту.

Через некоторое время он вернулся:

– Старый хирс приходил. Слышит, нас трое, заволновался, решил проведать.

Спали крепко. Утром Хуршед молился, Ашур сидел в медитации, я сходил за водой к роднику, разжег костер. Попили чаю, и Хуршед простился.

Когда его спина скрылась в арчовнике, Ашур произнес:

– Не бойся ничего. Я помогу.

Глава 8

Станция

Вечером я спросил вернувшегося от родника Ашура:

– Как же я пойду на станцию?

Ашур поставил баклажку с водой на землю:

– Зверь ждал тебя. С одной стороны, он охранял. С другой – зверь есть зверь и сразу не пустит. Но не бойся, я дам тебе вот это. – Ашур снял с груди амулет – гвоздь. – Это могучее оружие. Если что – бей в глаз.

Я недоверчиво рассмотрел гвоздь:

– Оружие?

Утром Ашура в пещере не было; я умылся, глотнул холодного чаю и быстро собрался. Дорога на станцию заняла остаток светового дня, и, когда я вышел к ангару и двум зданиям основательной постройки, уже садилось солнце. Я обрадовался, увидев перед ангаром (как оказалось, не слишком поврежденным лавиной) «Ниву» Хуршеда. Оглядевшись, я увидел его на взгорке – он спускался со столба на «кошках», закончив монтаж проводов.

– Принимай работу, – приветствовал меня Хуршед. – Найди розетку.

Простившись с Хуршедом, я постоял, глядя, как кивают и рыскают фары, как ближний свет зарывается в колею, как густеет тьма над Памиром и гаснут отсветы с вершин уже канувшего за горизонт, но еще подсвечивающего высотные зубья солнца, и отправился оборудовать ночлег. В ангаре я сложил из камней очаг, развел костер, отломав от кабельных катушек несколько досок. Пламя поднялось повыше, и в его отблесках я хорошо рассмотрел массив из стопок листового свинца и перемежавшихся им кассет.

Видели ли вы, как кладоискатель после удара кирки по кованой крышке сундука впицается лопатой в оставшийся грунт? Видели ли вы, как споро и точно каменщики возводят кладку, строя дом для собрата своего каменщика? Так и я не заметил, как сознание погрузилось в мед сосредоточенности, уступив телу свою выносливость.

Первым делом я оборудовал на стеллаже в ангаре лежанку, распустил для очага на щепы крышку стоявшей тут школьной парты, за которой когда-то сидели лаборантки, с лупой изучавшие каждый квадратный сантиметр пленки, но прежде обследовал заброшенные здания и особенной разрухи не обнаружил. Мне было интересно покопаться в архивных закутках, где нашлись фотки с субботников и походов на ближайшие вершины участников того или другого сезона и групповые снимки вместе с более или менее значительными учеными, посещавшими станцию. Я узнал Скобелыцына, Гинзбурга, Векслера, Тамма; Векслер был одним из основных энтузиастов создания станции, и за его плечами на фотографиях можно было рассмотреть все стадии строительства. Вот возводятся одноэтажные приземистые строения – торчат стропила, кладется кровля; а вот сооружается первая версия рентген-эмульсионной камеры, раз в двадцать меньшей по площади, чем нынешняя, первопроходческий вариант: горят горелки, клепаются ребра швеллеров, вся конструкция напоминает пролет моста – раскосины, перекладины, этажерчатые переносицы кровли. Теперь мне предстояло карабкаться по этим стальным бровям, чтобы демонтировать колонны свинцовых кассет, собравших двадцатилетний урожай сообщений Вселенной – речений мироздания, пронизавших фотоэмульсию космическими ливнями, вызванных ударами разогнанных взрывчатым рождением мира частиц. Я всматривался в фотографии неизвестных или смутно знакомых людей, пока наконец не осознал, что именно так завораживает меня: коллективные снимки – головы и плечи веером в несколько рядов – напоминали снимки хора, поставленного так, чтобы звук шел поверх каж-

дого следующего ряда в фокус параболы, по которой их выстроил дирижер, формируя амфитеатр тел, тонущих в пучине времени.

Я приспособил снятую в жилом корпусе дверь под верстак, заточил нож, положил рядом с ноутом, сканером, воткнул накопитель, метнулся в лабораторный корпус, поискал, нашел стабилизатор, проверил его работоспособность. Потом устроил перекус и, пока прихлебывал крепчайший чай, оглядывал вприщур пирамиду кассет, прикидывая, во что мне обойдется взятие этой вершины. Никак не мог точно сосчитать стопки и взобрался по швеллерам повыше – вот они все, метр на метр, две тысячи кассет горкой. Я засучил рукава. Цикл состоял в том, чтобы вскарабкаться на рабочий участок, затем, орудуя по периметру отверткой, вскрыть кассету, лист свинца снять аккуратно, не повреждая плотный конверт с пленкой, отложить, конверт пронумеровать в соответствии с утвержденной в журнале работ координатной сеткой, распаковать так десяток кассет, спуститься к верстаку и с помощью рейсшины, подобранной вместе с другими инструментами в проявочной, приняться за точную кройку. Затем я снова нумеровал раскрытые части, а когда все было готово, отправлял полученные сканы в программную шивку, после чего сбрасывал результат на накопитель. Дня за три такой работы, которой не было конца и краю, я вошел в состояние, похожее на глубоководное погружение. Единственной эмоцией, пробивавшейся ко мне с поверхности мира, была уверенность в моем методе, в том, что он сможет справиться с такой густотой данных, с пережженными струями частиц участками пленки; но, сканировав и оцифровав две тысячи квадратных метров, восемь тысяч сканов, при обработке я еще должен был совместить все стопки и восстановить в одну объемную картину все струи-события, прошившие камеру.

День я начинал на рассвете и заканчивал с заходом солнца, поднимаясь на ближайший взгорок, откуда закат выглядел в точности марсианским: косые солнечные лучи делали еще смуглей шершавые от острых камней скалы склонов.

Долго ли, коротко, я потерял счет дням. Иногда, чтобы встряхнуться, я уходил слоняться по станции, снова и снова заглядывал во все комнаты и помещения, примечая там и здесь полезные вещи, находя то коробку расколотых карандашей, то рулоны кальки, то упаковку копирки, аптечку с истлевшими эластичными бинтами, жгутами и пузырьком с марганцовкой; нашел и кипятильник.

Ничто ни на земле, ни на небе не было способно отвлечь меня от дела. Но уже два или три раза то ли во сне, то ли наяву отдаленно слышал я некий мрачный низкий рев, не предвещавший ничего хорошего. И сегодня днем он раздался отчетливо. Я выскочил наружу. Нечто сгустилось в воздухе, заиграло кристальными гранями, смутная фигура крылатого существа взметнулась передо мной, заколыхалась блестящими срезам, будто покрытое дробящейся чешуей, и вдруг грани стерлись на распахнутых крыльях, и вновь прозрачный объем приземистых зданий, окруженных изломанной гористой местностью, предстал передо мной, будто на поверхности воды успокоилась мгновенно рябь.

Вечером заехал ненадолго Хуршед, привез продуктов, сказал на прощание:

- Ашур велел передать, чтобы ты не боялся.
- Да как тут не убоишься?
- Ашур сказал: не бойся, делай свое дело.

А что мне еще оставалось? С юности я знал, что работа может человека если не спасти, то облагородить. Чумные годы, когда Кембридж опустел в 1665 году, Ньютон провел в уединении. Он уехал домой, в Вулсторп, захватив с собой книги и тетради, спасаясь не только от опустошительной эпидемии, но и от войны с Голландией и от Великого лондонского пожара. Там он и сделал большую часть своих научных открытий, там открыл закон всемирного тяготения. Именно тогда, писал Галлею позднее Ньютон, он выразил обратную квадратичную пропорциональность тяготения планет к Солнцу в зависимости от расстояния и вычислил правильное отношение земной тяжести и стремления Луны к центру Земли. Пример отшельнической

работы молодого Ньютона всегда был для меня образцом сосредоточенности, тем более сейчас, когда я вплотную приблизился к бесценным залежам данных, способных приоткрыть тайну темной материи, имеющей непосредственное отношение к закону тяготения. И мне было безразлично, во что мне обойдется «сопротивление материала».

Глава 9

Работа

Я все готов был стерпеть ради работы. Однажды проспал рассвет и в счастливом полусне приоткрыл глаза: в проеме ангара дышала огромная шерстяная спина с заложенными на загривок ушами-простынями. Я зажмурился и пробормотал, улыбнувшись: «Калошадка пришла», – махнул рукой, словно пытаюсь погладить, но забылся, а когда снова открыл глаза, увидел, как широченная меховая спина рванула за угол ангара.

С тех пор калошадку я видел на склонах регулярно, гадая, что же она делала: паслась, слонялась, облизывая голые камни, или просто сидела там и тут – мне некогда было подолгу за ней следить. Она могла несколько часов кряду пробыть в одном и том же месте, понемногу сползая своими роговыми колесами по склону и вызывая осыпь, а то вдруг этот слоновый кролик начинал громко вздыхать, будто разгонял внутри мехи, и кидался со всего маху куда-нибудь, причем момент полета был великолепен: чудовищного объема живая масса внезапным скачком пронеслась по склону, только развевались рваные кончики ушей да слышалось из-под земли идущее эхо удара.

А особа в красном появлялась вскользь, непременно в боковом поле зрения, пока я сканировал кройку; стояла скромно, прекрасное лицо ее было скрыто вуалью теней, и любая попытка обратиться к ней, даже мысленно, приводила к ее исчезновению: она пропадала, как вспархивает бабочка под протянутыми пальцами. Понемногу я привык к ней, поняв, что это один из примкнувших ко мне стражей, и, когда спускался с пирамиды и усаживался за кройку и сканирование, ждал ее появления – сначала напряженно, а потом уже слегка даже бравируя, мол, соскучился, – но все равно пугался, только меньше, ибо человек способен привыкнуть ко всему, в том числе и к рассеченной реальности.

И пусть работа спорилась, все же меня стало занимать, что происходит на станции, пока я сплю, – поскольку однажды окончательно пришлось себе признать, что за ночь по мелочи, но неизбежно что-то меняется в обстановке: то пропадет рейсшина, то перепутана последняя кройка, то вдруг на пирамиде сдвинута кассета, даже вскрыта, но лист не убран, просто отложен в сторону, конверт с пленкой не тронут. Наконец, когда утром я не обнаружил на верстаке сканер и искал его в панике по всему ангару, а нашел только у лежанки, в ногах, спрятанный под рюкзаком, я из фотоувеличителя, высканного в проявочной, соорудил штатив и укладывался теперь на сон грядущий под неусыпным оком видеокамеры, устанавливая ее под разными углами и в разных местах, пытаюсь получить представление о ночной жизни на станции.

Несколько ночей понадобились мне, чтобы понять, что к чему. Я так изнемогал за день, осваивая верхотуру в ангаре, что едва успевал застегнуть спальник, как сон валил меня борцовски в партер небытия. И хоть и помнил я успокоительные слова Ашура, все равно после того, как утром проснулся с накопителем, зажатым в руке, мною овладела оторопь. В результате охоты за самим собой с помощью камеры стало ясно, что редкую ночь целиком я провожу на лежанке. Непременно через полтора-два часа покоя встаю, обхожу ангар, беру с верстака накопитель и с ним в руках возвращаюсь к пирамиде. Я взбираюсь на нее и затем по верхним швеллерам поднимаюсь на стропила, откуда шагаю ровнехонько под самый конек ангара, где и стою полночи. Несколько раз я слышал в записи знакомый рев, и однажды перед камерой метнулось что-то блестящее, как крылатая змея, и я сбросил все видеофайлы на ноут.

Вскоре пришлось всерьез сопротивляться погоде: облако напозло, уселось на мель на здешнем высокогорье, его клочья вползали в прорехи ангара, сбавляя видимость. Постепенно интерес мой к ночным похождениям ослаб, мне наскучило раз за разом видеть, как я прохожу на цыпочках мимо камеры, пропадаю из виду, а через некоторое время появляюсь в глубине

кадра, взбираюсь на верхотуру, где простаиваю до предрассветного полумрака словно часовой. Днем в памяти вспышками возникали пугающие картины: я видел с высоты, как внизу под мной бушевало и бесновалось крылатое существо, мельтеша потоками как будто бы зеркальных перьев, и мне непонятно было, отчего ему никак не удавалось прихватить меня своим клювом.

Однажды утром я заметил явный кавардак с кассетами. Пирамида понемногу таяла, вершина ее заострялась, становилась все меньше площадью, пустые кассеты приходилось из экономии сил складировать тут же, так что ангар внутри все больше напоминал скалистое урочище, лабиринт, в котором телу было проще ориентироваться, чем мозгу, и телесным наитием я понял, что за ночь что-то преобразилось в расположении пустых кассет, что-то произошло с их стопками, и это меня взволновало, ибо раз кто-то был способен перемешать пустые кассеты, то он же может перепутать еще не отработанные кассеты, что окажется труднопреодолимым препятствием при обработке данных.

Я отложил работу и принялся отсматривать запись. Сначала все шло как обычно: я отправился на свой пост – силуэт мой поместился в северо-восточную прореху в крыше ангара, – вскарабкался на самую макушку пирамиды и оттуда стал взбираться наверх обычным путем по стропилам, как вдруг кто-то отвернул камеру, в динамиках зашуршало чье-то прикосновение и дернувшийся кадр остановился на верстаке. Немного погодя камера задрожала от чьей-то поступи, затем промелькнул силуэт Ашура – а в замедленной съемке было ясно видно, как он летел в прыжке, занеся подобно копыю свой посох. Какое-то время изображение тряслось и скакало, потом штатив опрокинулся, и наискосок я увидел, что происходит: Ашур бился с исполином. Нельзя было рассмотреть в подробностях, но постепенно стало понятно, что это некое соединение туловища человека с птичьей головой. Колосс, забранный в подобие стекляннопериистой брони, блестящей в темноте антрацитом, титан с тлеющими желтыми глазами чудовища и человеческой гибкой фигурой в полной тишине противостоял Ашуру, который бил его нещадно, орудуя посохом будто двуручным мечом. Все это время я видел себя стоящим высоко над сценой битвы; чудище с птичьей хищной головой щелкало клювом и пыталось вскочиться повыше, чтобы сбить меня, еле державшегося на мысках на узкой жердочке; я стоял, вытянув над головой руки с обмотанным вокруг пальцев шнурком накопителя, словно стараясь уберечь бесценный груз, как стоят, замерев, на краю трамплина прыгуны в воду. В какой-то момент птичья химера, издав гортанный рокот, низкий, но недостаточный для рокового пробуждения сомнамбулы, изловчилась и в хитроумном кульбите, выставив вперед плюсну, сумела выбить у Ашура посох. Потом запись оборвалась.

Я взглянул на часы и спохватился. Ясно было, что делать нечего, остается только ускорить работу и поскорей исчезнуть отсюда. В тот день я решил не ставить камеру на запись, считая, что раз уж дело приобрело столь угрожающий вид, лучше зажмуриться.

На следующее утро я проснулся от сильного солнца, вставшего во весь рост своими теплыми пятками на мои веки. В ясные дни станция и горы вокруг преображались и переставали быть декорациями чистилища, предбанника ледяного гиперборейского рая – ада для смертных, расположенного двумя километрами выше. Я потянулся, щурясь на два сахарно-каменных пика, проступивших в прозрачном воздухе, и решил залениться сегодня, сделать себе подобие выходного – отлежаться и потом сварить овсянку на сухом молоке с лишней горстью изюма. Но тут взгляд мой упал на пирамиду и метнулся к вершине ангара. Солнечный луч, бывший в прореху в крыше, ложился на лицо и тело обезображенного могучим ударом нагого человека. Привязанный за руки к потолочной балке, расплосованный снизу доверху, над моим сокровищем висел Ашур.

Я кинулся наверх. С трудом распутал веревки, тело скользнуло на склон пирамиды, и суфий застонал. Я уложил Ашура на брезент. В тот день должен был явиться с продуктами

Хуршед, и он не заставил себя ждать. Вместе мы перетащили Ашура в машину и отправились в путь.

Но не успели мы миновать кишлак, как Хуршед вдруг ударил по тормозам и выскочил из машины. На ближайшем гребне четыре волка рылись во внутренностях какого-то существа. Хуршед зашагал в их сторону, волки ощерились и зарычали; тогда он развернулся, достал из багажника дробовик, побежал и не сбавляя хода выстрелил – дробь хлестнула и застучала по камням, а волки затрусили прочь. Вблизи нам предстала картина развороченной части туши – груда мяса и лоскуты кроличьей шкуры. Хуршед покачал головой и пробормотал: «Верхние чудят». Я сообразил, что это кусок калошадки, и крикнул: «Поехали!».

Мы отвезли Ашура в Хорог. Выжил он чудом только потому, что раны еще в дороге необъяснимым образом стали сами затягиваться.

Прошла неделя, а я все не решался вернуться на станцию, жил теперь в пещере хазрата, отчасти подменяя Ашура: поддерживал огонь в очаге, принимал паломников, рассказывал им, что случилось с суфием, те цокали языками и бормотали молитвы. Каждую ночь приходил к пещере хирс, и я выхватывал головню из костра, другой рукой собирал кусочки лепешек, брал плоску с недоеденным «дошираком» и выносил медведю. Последние два дня я проводил время на метеостанции, помогая Хуршеду.

Вдруг он спросил:

– Когда работать пойдешь?

– Боюсь я, Хуршед.

– Ашур велел: не бойся. Кончил дело – гуляй смело. Меня так в армии учили.

Я промолчал, но на следующий день все утро провел у порога пещеры, собираясь с духом перед возвращением на станцию. Я сидел, глядя из бельэтажа на партер гористых увалов, на светлую нитку дороги на станцию, вспоминал всякую всячину и думал о том, что делает отец в самый ответственный момент моей жизни.

Следующие две недели я пробыл на станции, завершил запись данных до самого последнего фотоэмульсионного листа и благополучно, без приключений вернулся в Москву, прежде навестив в больнице идущего на поправку Ашура.

Глава 10

Отец

Я долго не знал отца – тот пропадал в геологоразведке, пока на Чукотке не завершились изыскания россыпного золота. А потом вдруг появился *он*, пахнувший сыромятной кожей и табаком. Одно из первых воспоминаний: мать вынесла ночью меня к только что прибывшему отцу, резкий свет, зажмуренные глаза, и колючая прохладная сила подхватывает меня целовать, а дальше вспыхивает утро, и я вижу приоткрытую балконную дверь с полосой луча, добирающегося от порога до спинки кровати. Никогда прежде не видел я так близко ни одного мужчину. Сказочный великан лежал навзничь на постели, куда я любил скользнуть поутру, прижаться к материнской теплой мягкости, и я оказался пленен этим властным вторжением крупного плана, ошеломлен, разглядывая торчащие из-под простыни ступни, складки простыни, текущие по телу, закинута за голову руки, вздымающуюся грудь, плечи и темные подмышки, волевой подбородок, опрокинутые брови, прямой нос с сужающимися от дыхания ноздрями. Так же зачарованно я разглядывал потом чудеса – море и жирафа. Так же десятилетия спустя в роще секвой в Йосемити я буду рассматривать поверженный бурей колосс: купол вывороченного корневища, ствол уходит вверх по склону подобно связанному лилипутами земного притяжения Гулливеру. Так же тело отца длилось ростом вдоль кровати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.